

Р2
КН 57

Владимир Неуньвахин



ПОДСНЕЖНИКИ



Владимир Неунывахин



ПОДСНЕЖНИКИ

Рассказы и зарисовки
для школьников старших классов

588037

Детские книги
Центральный отдел
Библиотеки
г. Ленинград

Р2
1157

К ЮНОМУ ЧИТАТЕЛЮ!

Рассказывая в этой книге о своем детстве и увлечениях, описывая достопримечательности лесов, озер, рек и речушек, повествуя о братьях наших меньших, я преследовал единственную цель: помочь тебе, мой юный читатель, познать окружающий мир, проникнуться любовью к матушке-природе, к ее обитателям, задуматься о их дальнейшей судьбе.

Работая над книгой, я в который раз переживал прошлое, мысленно встречал былые зори и восходы солнца, перед глазами вставали незабываемые встречи с замечательными людьми. Иной раз просиживал над рукописями, погруженный в воспоминания, до поздней ночи.

Хочу верить – эта книга принесет тебе пользу в выборе жизненного пути, поможет избежать трагических ошибок, надеюсь, прочтя рассказы о трагической гибели братьев, о подарке матери, о голубях блокадного Ленинграда, о подснежниках и больной девочке, о чуде спасшейся березке, таежном бурундучке, ласточках, о кошке Соньке и другие, ты, мой юный читатель, задумаешься о судьбах героев и своем месте в современном мире, более требовательно отнесешься к своим поступкам, проникнешься чуткостью к близким и окружающим людям, научишься беречь природные богатства и нашу Родину в целом.

В добрый путь, мой юный друг!

Автор

© В. М. Неунывахин, 2008

БРАТ

(Рассказ)

*«За проявленное мужество
при спасении детей наградить
Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета РСФСР
Неунывахина Виктора - ученика
9-го класса... Посмертно...»*

**(Из Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР)**

Произошло это в таежном поселке Усть-Кабырза Таштагольского района. Еще помнят здесь старожилы то трагическое событие, помнят Виктора Неунывахина. Его именем названа поселковая средняя школа. Когдаходишь к зданию школы, видишь в палисаднике среди ярких цветов, каждую весну высаживаемых школьниками, обелиск, на табличке которого одиннадцать фамилий учащихся школы, погибших в то трагическое утро, первая – Виктора.

* * *

...Весна в 1962 году заплутала где-то в южных широтах и в Горную Шорию пришла с опозданием. И сразу же, словно извиняясь за поздний приход, рьяно взялась за свое дело. Угнала за горизонт хмурые тучи, перекрасила в темно-синий цвет небосвод и разбудила на южных склонах гор подснежники. Мутными ручьями потек по распадкам и дорогам снег. Лед на реках посинел, взбычился и... сломался.

В это утро Виктор проснулся позже обычного. Отец уже

ушел в контору, а Вовка с Ленькой, сонно почесываясь, собирали книжки в портфели.

Холодная вода из ведра в сенях моментально прогнала остатки сна. На ходу дожевывая хлеб с маслом, Виктор схватил папку с тетрадями и вышел на крыльцо вслед за братьями.

Всходило солнце. Его лучи, отражаясь в прозрачном стекле ледка на лужицах, - с утра подморозило - больно режут глаза. Вовка семенит трусцой: не поспевает за размеренными широкими шагами старшего брата. Размахивая портфелем, он рассказывает, как вчера сосед дядя Филипп ходил на Кабырзу с наметкой и поймал небольшого таймешку. Неплохо бы и им как-нибудь пройтись с наметкой по берегу, вот только отремонтировать бы ее надо - поперечина треснула. Виктор слушает рассеянно: мысли заняты предстоящими соревнованиями по боксу на первенство района, его включили в состав команды. «Надо бы увеличить время тренировок», - думает он, невпопад поддакивая брату.

Подошли к реке. Здесь уже толпятся другие ребята, ждут паром. Старшие нетерпеливо поглядывают на часы. Уснул, что ли, паромщик? Так и на первый урок опоздать можно.

Наконец, подошел паром, и ребяташки, толкаясь, устремились по шатким и скрипучим сходимям. Виктор со своими сверстниками поднялся последним.

Бурлива и многоводна весной таежная река Мрассу. Летом во многих местах перебраться можно, а сейчас - вон как клокочет.

Мутные потоки плещутся о смоляные бока карбузов, крутятся воронками, проносят мимо клочки пены и всякий мусор. Поскрипывает натянутый трос, по которому скользит блок парама.

Из задумчивости Виктора выводит чей-то испуганный вскрик:

- Ой, паром разворачивает!

Виктор вскинул голову. Должно быть, паромщик круто повернул рулевое весло, и паром, подхваченный стремительным потоком, развернуло поперек реки, угрожающе накре-

нило. Забурлила вода, ринулась на образовавшуюся на ее пути преграду. Ребятишки испуганно жались к противоположному борту. Виктор кинулся к паромщику, который суетился у весла, налегал на него всем телом, пытаясь повернуть, но... поздно. Что-то хряснуло, заклокотала вода, и тишину над рекой разорвал отчаянный детский крик...

В следующий миг Виктор почувствовал, как все тело огнем обожгла ледяная вода. Она хлынула в рот, уши. Перед открытыми глазами заплясали желтые языки. Отчаянным усилием Виктор рванулся наверх. Вынырнул, отплевываясь, огляделся. До обоих берегов - одинаково. «Середина», - мелькнуло в голове.

Рядом, крутясь в воронках, плыли книжки, кепки и чьи-то платки. Телогрейка быстро намокла и свинцом давила на плечи, сковывала движения. Резиновые сапоги пудовыми гирями тянули вниз.

Метрах в двух из воды показались руки. Вслед за ними - искаженное лицо. Рот широко раскрыт, в глазах ужас. Через секунду лицо исчезло. Виктор взмахнул руками, загребая, и нырнул. Казалось, вечность шарил руками под водой и, наконец, пальцы натолкнулись на ускользящую ткань. До боли (рвани - вместе с пальцами оторвень) сжал находку. Загребая одной рукой, поплыл к берегу. Стремительное течение сносило. Вот все ближе и ближе спасительный берег. Там мечутся женщины. Сапоги ударились о камни. Виктор встал, шатаясь, поднял на руки обмякшее тело. Чьи-то руки осторожно приняли тяжелую ношу.

Виктор опустил на камни, с остервенением ухватился за сапог. А над рекой:

- Ма-а-ам-а-а! М-а-а-а...

Виктор вскочил, так и не стянув сапоги, с разбегу кинулся в ледяную воду. Широко загребая, поплыл наперерез захлебывающейся девушке. Это была Рая Сиротенко.

- Держись! Я сейчас! - крикнул хрипло.

В последний момент уже под водой схватил тонущую за волосы. Снова чьи-то руки осторожно приняли обмякшее тело. А Виктор уже плыл к середине. Задыхался, захлебы-

вался, но выбрасывал и выбрасывал вперед руки. Ох, как тяжелы сапоги и телогрейка: тянут, проклятые, вниз. Вот уже вне опасности какой-то мальчонка: Виктор вынес его и положил на прибрежную гальку. И снова плещется вокруг лица обжигающая вода. Сводит судорогой ноги.

Через несколько минут Виктор под мышки вытянул к берегу брата Леньку.

Перед глазами пляшут разноцветные круги, острой болью колет попавшая в легкие вода, окостенели пальцы. А над рекой - жутко:

- М-а-амочка-а! Спаси-ите-е!..

Виктор отталкивает чьи-то руки и, шатаясь на нестигающихся ногах, бросается к воде. Ему кажется, что он бежит, но он не бежит, он медленно бредет. Бурлит вода, и кажется, что она смеется, хохочет, торжествует:

- Не-ет! Всех не спасешь! Не-ет!

- Спасу! - скрипит зубами Виктор и выбрасывает попеременно то левую, то правую руку вперед. - Спасу! - и снова бросок одеревеневшей рукой.

Впереди - голова и рядом с ней выныривает вторая. Это братишка Вовка, захлебываясь сам, спасает Галю Злобину.

- Молодец, Вовка! - хрипит Виктор, но только шевелятся непослушные губы. Виктор подхватывает Галку, поворачивает к берегу и одновременно командует брату:

- Не барахтайся, Вовка, не растрачивай впустую силы. Гребь плавнее, плавнее. Вот так! Мы еще с тобой порыбачим, - и улыбнулся сведенными судорогой губами....

Так и лежал он с этой улыбкой в клубе перед почетным караулом...



«ЗА ЧТО?!»

(Рассказ)

Я знал его - Сашу Сахарова. Тогда ему было чуть больше семнадцати. Знаю сейчас его сестру, ей теперь уже двадцать. Я часто встречаюсь с ней, и, когда стою рядом, мой взгляд невольно задерживается на ее висках. Они у Нади седые. Эти пепельные завитушки больно сжимают сердце. Седые виски в двадцать лет...

... Сергей Сахаров вернулся с войны поздно. Вернулся, когда его однополчане уже давно сменили гимнастерки на рабочие комбинезоны и встали к станкам. Минный осколок рядом с сердцем приковал его к госпитальной койке почти на два года после Парада Победы на Красной площади.

По каким только госпиталям не мотался за эти годы Сергей. Был в Москве, на Урале, в Крыму. И везде хирурги, посмотрев его рентгеновские снимки, качали головой, не решаясь взяться за операцию. Так и выписался Сергей Сахаров с этим зазубренным кусочком металла в груди. Сложил в рюкзак свои нехитрые пожитки, задумчиво повертел в руках и сунул на самое дно пухлую папку с историей болезни и купил билет на поезд в далекую Сибирь. Никто не ждал бывшего добровольца, некому было встречать его на вокзале родного города: два брата остались в солдатских могилах где-то в Прибалтике и Прикарпатье, а старушка-мать скончалась перед самым концом войны.

По состоянию здоровья Сергей устроился в одно из учреждений бухгалтером. А вскоре пришло и семейное счастье. Сергей встретил Настю. Но недолго длилось это счастье. Очень недолго. Зазубренный осколок завершил свое страшное дело. И спустя семь лет после того, как осела пыль и рассеялся дым от последней авиабомбы, теперь уже сослуживцы по работе провожали Сергея Сахарова в по-

следний путь. Впереди гроба несли красную подушечку, на которой поблескивали боевые заслуги бывшего разведчика. Эта подушечка снова напомнила идущим за гробом о суровых днях войны. Мужчинам она напомнила вой и грохот снарядов, запах гари, пота и крови, женщинам — серые с машинописным текстом квадратные листочки в казенных конвертах...

Но не понять было двухлетнему Сашке и четырехлетней Наде, почему так дико кричала их мать и билась на руках окружающих женщин, когда какие-то дяди стали засыпать землей глубокую яму. Не понять было этим малышам, что нет теперь у них отца, что в будущем некого им будет рано утром 9 Мая поздравлять с великим праздником Победы...

...Тяжело было Насте. Ох, как тяжело было поднимать на ноги двух детей. Пенсии за мужа и скромного заработка закройщицы швейной мастерской только-только хватало, чтобы свести концы с концами.

Шли годы. Подросла Надюшка, стала первой помощницей матери. Вечерами помогала постирать сменную рубашку братишке, заштопать ему прохудившиеся носки. Да и на кухне ее худенькие ловкие ручки стали незаменимым подспорьем.

И вот Надя окончила десятилетку, а Саша перешел в десятый. Он был очень похож на отца. Такой же русый чуб, такие же серые, чуть-чуть грустные глаза...

В тот вечер Надя вернулась из техникума чуть позже обычного. Страхивая снежинки с воротника пальто, позвала брата с порога:

- Сашк, пойдём. Кино, говорят, сегодня в "Коммунаре" - экстрас-класс! Девчонки за билетами пошли, а я за тобой.

Через десять минут брат и сестра шагали к кинотеатру. Звонко хрустел под подошвами свежеснеженный снежок. Сгущались сумерки.

Избегая по ступенькам к колоннаде, Надя махнула рукой:

- Подожди. Я узнаю, купили ли девчонки билеты.

В свете уличных фонарей медленно падали снежинки. Казалось, что крохотные ночные мотыльки прилетели на свет и затеяли здесь веселый хоровод. Сзади, пошатываясь, подошли трое. Матерясь, о чем-то спорили между собой. Один из них, шатаясь, шагнул к Сашке, дыхнув перегаром, грубо спросил:

- Ты чего здесь стоишь, гад? Кого высматриваешь?

- Да дай ему в морду, Леха. Пусть знает наших... - сплевывая в сторону, процедил второй и, загребая ботинками снег, направился к ним.

- Я вам не... - Но договорить Сашка не успел. Удар в лицо отбросил его в сторону. Боль и обида ослепили. Он вскочил:

- За что?!

- А-а, падла! Ты еще и вякаешь, - выругался один из пьяных парней и размахнулся вторично. Но Сашка увернулся и, чувствуя, как у него закипает внутри, ударил ближнего головой в грудь. Нелепо взмахнув руками, тот отлетел в сугроб.

Александр кинулся прочь, но, поскользнувшись, тут же упал на колени. Двое навалились сзади. Отшвырнув одного из них, Александр вскочил и неожиданно, тихо вскрикнув, стал заваливаться навзничь...

- Саша! - дико закричала Надя, сбегая по ступеням. Но было поздно.

Трое, пьяно заплетая ногами, убегали в темный переулок, и Саша, неловко подвернув голову, распластался на снегу. Его рука судорожно сжимала и разжимала подтаявший комочек снега.

Когда Надя, задыхаясь, упала рядом с ним на колени, его пальцы в последний раз медленно сжали комочек и, расслабившись, выронили его на дорожку. Девушка забилась на снегу:

- За что?! За что?! Что он вам сделал? Будьте вы прокляты!..

И, может быть, в тот день, спустя месяц, когда, вернувшись из техникума, Надя нашла мать лежащую у шифоньера с зеленым Сашиным кашне в похолодевших руках, - посидели ее виски...

Я часто встречаюсь с Надей, и, когда стою рядом, мой взгляд невольно задерживается на ее висках... и боль сжимает сердце.



ГОЛУБЬ

(Рассказ)

Отчиму моему, перенесшему ужасы Ленинградской блокады, этот рассказ посвящаю.

Шел 132-й день блокады. Постоянное сосущее и мучительное чувство голода притупилось. На смену ему пришли сонливость и тупое равнодушие. От слабости подкашивались ноги и отяжелевшие, точно свинцовые, веки смыкались.

Три дня назад Владимир Эмильевич и Виктор Петрович доели последний кусочек «студня» из брючного ремня. Рецепт приготовления этого своеобразного месива подсказал Виктор Петрович — сосед по подъезду с четвертого этажа, впоследствии перебравшийся к нему на второй.

В наличии у них оказалось три брючных ремня из чистой кожи, которые, по уверению Виктора Петровича, и были пригодны в пищу. Их нужно было не менее суток вымачивать в

воде, периодически ее меняя, затем размякшую массу прокрутить на мясорубке и образовавшийся фарш варить долго-долго в кипятке. Получается желе в виде студня. По вкусу — совершенно противоположное наименованию русского блюда. Сравнивать его с каким-либо ранее употребляемым продуктом было бессмысленно. В общем, преснятина с горьковатым привкусом, почти не утоляющая чувство голода, но жизнь несколько продлевающая.

Поселившись вместе в квартире Владимира Эмильевича, они с Виктором Петровичем объединили усилия в борьбе с холодом, голодом и, оставшись одни на весь подъезд, невольно цеплялись друг за друга. У Владимира Эмильевича была буржуйка, которую он раздобыл в одном из подвалов и с трудом притащил в свою квартиру. Спасаясь от жестокого холода, они с Виктором Петровичем топили ее, используя в качестве дров старые книги, обломки кресел, столов и стульев, которые собирали по опустевшим квартирам, а в последнее время в топку шел паркет одной из комнат Владимира Эмильевича...

Перед самым началом войны Владимира Эмильевича в соответствии с решением Генштаба ВВС демобилизовали из эскадрильи летчиков-испытателей (тогда из действующей Армии выметали всех, не внушающих доверие, особенно немцев, даже и советских немцев). Устроился он на Ленинградский завод геофизаппаратуры, располагавшийся на улице Герцена. Началась война, и завод с первых же дней переквалифицировался с выпуска аппаратуры для геологов на производство малокалиберных бронебойных снарядов и пулеметных патронов.

Петля блокады все жестче сжималась вокруг города, который уже задыхался от недостатка электроэнергии, воды и главное — продуктов, которые могли еще как-то поддерживать жизненные силы горожан. Ручеек этих сил иссякал. Агонию голода ускорило уничтожение фашистской авиацией

Бадаевских продовольственных складов и холодильников. Их бомбили в ночь на 8 сентября, когда кольцо блокады только-только начало смыкаться. Налет был неожиданным и массивным. Самолеты шли волна за волной, и бомбы ложились кучно, точно в цель. Создавалось впечатление - фашистским летчикам подавались сигналы фонариком снизу, с крыш складских помещений.

Пожар был страшным, в полночь было светло, как днем. В огне погибли все годовые запасы зерна, муки, мяса, консервных продуктов и т.д. Сахар, расплавившись от высокой температуры, мутным потоком расплзался по земле вокруг горевших складов, застывая, перемешиваясь с грязью под сапогами солдат и пожарных.

Спустя три месяца, зимой в самый голодный период блокады к месту пожара потянулись изможденные люди. Они долбили, колупали, скребли ногтями, собирали, заворачивали в тряпочки, рассовывали по карманам крошки заледеневшей сладкой земли и расплзались по заснеженным улицам, уступая место другим.

Побывали на пожарище и Владимир Эмильевич с Виктором Петровичем. Притащились, цепляясь друг за друга, когда на месте сахарных потоков уже образовались рытвины и ямы, где копошились, ползали на коленях похожие на мумии (подобные им) существа с ввалившимися глазами, почерневшими губами и скулами, обтянутыми серым пергаментом кожи.

Набив карманы земельной крошкой и вернувшись домой, они долго фильтровали ее через тряпку, растопляя на буржуйке снег, пока густое месиво не превратилось в мутную и чуть-чуть сладковатую жидкость. Это лакомство они растянули почти на две недели...

А город, погрузившись во мглу, медленно умирал. Завод «геофизики» (так звали его рабочие между собой) закрыли - электроэнергии не хватало и на более мощные военные пред-

приятия. Специалистов, еще не дошедших до полного истощения, перевели на Петроградскую сторону на завод Энгельса, выпускавшего огнеметы и минометы. Кормежка здесь была получше, чем на «геофизике». В столовой раз в сутки давали кружку дрожжевого бульона, крошечный жмыховый пончик и 150-граммовый брикетик «черного хлеба» наполовину с отрубями и какими-то другими примесями, своим вкусом совершенно не напоминающий довоенный ржаной хлеб, который Владимир Эмильевич постоянно покупал в булочной рядом с институтом иняза на Мойке. А после того, как в одном из складов обнаружили несколько бочек с техническим рыбьим жиром и, испытав его на добровольцах, стали выдавать по ложке всем рабочим вместе с кружкой дрожжевого бульона, многим это помогло избавиться от цинги и спасти хотя бы часть своих зубов.

Но на заводе Энгельса Владимир Эмильевич проработал недолго. Трамваи на Петроградскую сторону не ходили, как не ходили они и по всему Ленинграду, и, чтобы добраться до завода, ему приходилось затрачивать до 4 часов пешком, на что сил почти не осталось.

Была возможность оставаться в цеху и на ночь, как делали многие, но Владимира Эмильевича тянуло домой хотя бы на часок, чтобы заглянуть в почтовый ящик: а вдруг Фира нашла возможность каким-то образом передать весточку с Урала, куда эвакуировалась вместе с детьми - Люсей и Юрой - еще в августе 41-го перед самой блокадой. Но ни писем, ни каких-либо записок не было...

Всех ослабевших, в том числе и Владимира Эмильевича, включив в сандружины, перевели с завода по месту жительства. Теперь они с Виктором Петровичем дежурили ночами на крышах, спасая их от зажигательных бомб. Днем расчищали улицы после артобстрелов и бомбежек, ходили в укрепленных районах по квартирам, выявляли умерших и вместе с другими сандружинниками выносили иссохшие тела

на улицу, складывали у подъездов на снег, откуда их машинами увозили на Пискаревское кладбище. Когда на Пискаревском не управлялись с подготовкой траншеи (ломался экскаватор), трупы везли на другие кладбища, в том числе Сергеевское, что за фабрикой «Веретено», куда Владимир Эмильевич ездил с похоронной машиной неоднократно...

Очень мучительно, пожалуй, тяжелее, чем голод, переносил Владимир Эмильевич отсутствие курева. Часами выставлял он неподалеку от здания штаба обороны города, жадно наблюдая за входящими и выходящими офицерами и отмечая, куда некоторые из них отбрасывают окурки. Затем, стыдливо втянув голову, собирал эти окурки, подсушивал дома и, трясясь над каждой табачной крошкой, осторожно скручивал из газетки самокрутку и с наслаждением затягивался горьковатым дымком.

С обострением цинги охоту за окурками пришлось прекратить. Распухшие кровоточащие десны изматывали, отнимая последние силы. Выпавшие зубы Владимир Эмильевич пытался сохранить, складывая в коробочку из-под чая...

Однажды им с Виктором Петровичем здорово повезло. Обследовав как-то заброшенный и захламленный подвал соседнего дома, где когда-то размещалась столярка местного ЖКЧ, они обнаружили весьма солидную плитку казеинового столярного клея. Работая еще на заводе Энгельса, Владимир Эмильевич как-то слышал от сменщика, что из казеина можно приготовить своеобразный сыр, и даже запомнил рецепт. Они долго, как и брючные ремни, вымачивали казеин в талой снеговой воде. Затем прокрутили матовую массу через мясорубку и получившийся фарш поставили кипятить до образования густого желе. Слив остатки кипятка, они с Виктором Петровичем завернули варево в тряпку и положили под груз. Через 6 часов «сыр» был готов. Темная вязкая лепешка отдаленно напоминала вкус плавленого сыра, но и она явилась деликатесом в течение не-

скольких дней. Владимир Эмильевич с Виктором Петровичем позволяли себе съесть казеинового «сыра» не более 100-граммового кусочка в день...

...На театральной площади у Мариинского театра им. Кирова до войны обитало несметное количество голубей. Они сидели под ногами прохожих, чуть ли не на голову садились отдыхающим на скамейках, выпрашивая хлебные крошки, пшено и подсолнечные семечки.

Владимир Эмильевич любил посидеть в короткие приезды домой из летной части на скамейке у Мариинского театра. Любил полюбоваться на спящих голубей и, полуприкрыв глаза, послушать шум города: шелест шин проносившихся недалеко легковых машин, перезвон трамваев, голоса прохожих, воркование голубей и многие другие звуки, присутствующие только городским улицам. У него всегда были с собой остатки батона или булочки, которые, раскрошив, скармливал своим любимцам практически с ладони.

Его всегда поражала страстная влюбленность и буквально человеческая нежность между парами голубей. Он с каким-то смешанным чувством удивления и восторга завожено наблюдал за ухаживаниями какого-нибудь голубя за своей подружкой, как, раздув отливающие перламутром шейку и зоб, он воркует и пританцовывает вокруг голубки, как бы что-то нашептывая тихим воркованием, склоняет свою голову ей под грудку, и она начинает нежно перебирать клювиком перышки на его шейке, спинке и крыльях, будто расправляет их. А как они целуются... Страстно, упоенно, клювик в клювик, с человеческой нежностью, полуприкрыв бусинки глаз, трепетно вздрагивая крылышками. Чувства почти как у людей...

Несколько десятков голубей гнездились и на чердаке соседнего дома, где жил с семьей Владимир Эмильевич. Фира частенько подкармливала пернатых соседей, высыпая на дощечку за подоконником кухонного окна крошки со стола,

семечки и другие остатки пищи. Возможно, ее забота о птицах и возбудила у Владимира Эмильевича интерес к голубям.

Началась война. Блокада. Голод. Чувствуя людскую беду, стали исчезать из города голуби: некому да и нечем стало подкармливать сизарей. Но к кухонному окну Владимира Эмильевича пара голубей продолжала изредка прилетать. Прохаживаясь вдоль подоконника по досточке, на которую когда-то Фира сыпала крошки, голуби нетерпеливо заглядывали своими бусинками глаз внутрь кухни, часто постукивали клювиками по стеклу: ну, что же вы, люди, вы же были так щедры?

И однажды Владимир Эмильевич решился. Он будто въявь увидел наваристый бульон из голубей, ноздрями ощутил его щекочущий аромат. Поборов в себе чувство жалости, он открыл створку наружной рамы, привязал к ее ручке бечевку и, пропустив ее через форточку внутренней рамы, набрал пригоршню мусора помельче у буржуйки. Демонстративно, чтобы видели голуби с соседней крыши, рассыпал мусор на подоконнике между рамами. Сам же спрятался за кухонную дверь. Вскоре голуби подлетели к окну. Настороженно косясь на приманку, голубь, оттеснив подружку, первым на правах джентльмена направился к приоткрытой створке. Владимир Эмильевич дернул бечевку, и сизарь забился между рамами.

Удерживая вырывающегося голубя в ладонях, Владимир Эмильевич ощущал, как под пальцами трепещет комочек сердечка птицы, как дрожит горячее тельце и ужаснулся:

- Боже мой! Как ты истощен! Бедолага, и ты вместе с людьми страдаешь от тягот блокады, и тебе невоготу голод... Ну, не дрожи так, не дрожи. Никто тебя не обидит. Ну, иди... Лети, - тут же поправился Владимир Эмильевич, открывая окно и отпуская голубя на дощечку у подоконни-

ка, - лети к своей голубке. Вон она ждет тебя на перилах соседнего балкона.

Голубь взметнулся, устремляясь к соседней крыше. Захлопав крыльями, будто заплодировав, бросилась за ним и голубка...

...Виктор Петрович умер на 145-й день блокады перед заходом солнца. Его высохшая с восковой желтизной рука медленно сползла с вороха тряпья и костяшками скрюченных пальцев глухо стукнула об пол. Из полуоткрытых почерневших губ вырвался хриплый, как вздох облегчения, еле слышный стон.

Владимир Эмильевич открыл глаза, прислушался и с трудом оторвал голову от подушки, всмотрелся, напрягая глаза, в серый полумрак комнаты, позвал:

- Петрович, как ты?

С дивана не доносилось ни звука. «Отмучался Петрович... Скоро вот так и я... - откидываясь на подушку, с каким-то равнодушием подумал Владимир Эмильевич. - Надо бы спуститься, позвать дежурных из сандружины, чтобы забрали тело, - но, представив, что нужно выбираться из-под вороха одеял и спускаться, цепляясь за перила, вниз на 24 ступени, а затем столько же ступеней преодолевать вверх, он мысленно содрогнулся. - Не осилить!»...



588037

Летевая Птица

ДВЕ ПУЛИ

Рассказ

Роман Константинович - мужик солидный, с брюшком и седой шевелюрой, - руководитель крупного предприятия, привыкший к кабинетному стилю работы, в последнее время стал заметно тяжеловат на подъем. Доктора давно прописывают ему активный отдых - поездки на природу, на свежий воздух, на берег речки, на таежные озера. Да и сам Роман Константинович, чувствуя нередкие сбои в толчках сердца, стал уже подумывать об уходе на пенсию. Да только страшновато было ломать установившийся порядок и ритм жизни. А ломать, наверное, придется - как-никак шестой десяток разменял.

Вот и мать в своих письмах давно убеждает поберечь себя, оставить «нервотрепную» работу и уходить на заслуженный отдых.

Милая мама... Она всегда с огромной любовью и нежностью заботилась о нем: и тогда, когда было ему десять лет; и когда стало двадцать; и когда появились его дети - ее внуки; и когда стукнуло сорок. Не притупились ее чувства и когда перевалило за полтинник. А ведь ей уже самой далеко за восемьдесят.

Она давно зовет его с семьей, с внуками и правнуками к себе в гости в тихий патриархальный городок, где, кстати, прошло его детство в послевоенные голодные годы, учеба в школе, вплоть до поступления в институт в крупнейшем промышленном центре. С тех пор Роман Константинович бывал у матери только проездом, при возвращении с курортов Черноморского побережья и реже - при следовании на юг. Приезжал на день-два, не более.

Телеграмму от матери принесли на квартиру Романа Константиновича поздно вечером.

«Сынок, - телеграфировала мать, - приезжай здоровье плохое».

Защемило сердце и застучало в висках. Роман Константинович положил таблетку валидола под язык и принялся звонить своему заму. А на завтра он уже подъезжал к родному городку.

Мать сильно сдала, сгорбилась, ее голова и руки заметно тряслись, но была еще на ногах. Она очень обрадовалась появлению сына, всплакнула и засуетилась на кухне.

- Ты как надумал-то? Проездом или что-то случилось? - выглянула она из кухни.

- У нас все хорошо. Все живы и здоровы. Ты-то, мама, как себя чувствуешь? И потом, почему ты спрашиваешь о причинах моего приезда? Не ты ли давала мне телеграмму?

- Какую телеграмму? - искренне удивилась мать, а когда прочитала текст, рассмеялась.

- Ну, надо же, узнаю руку Наташи Куликовой. Это дочка соседки по лестничной площадке, частая моя гостья. Как-то жаловалась я ей, что ты редко приезжаешь в гости. Вот она и дала телеграмму, чудачка.

И Роман Константинович рассмеялся вместе с матерью. Он несколько не рассердился и не обиделся на соседскую девушку - не ее бы инициатива, он так и не нашел бы времени для поездки к матери.

На третий день, когда Роман Константинович засобирался домой, мать сникла и еще больше выглядела постаревшей. А накануне его отъезда достала из старинного комода шкатулку с облупившейся краской и вынула маленький узелочек из пожелтевшей марли.

- Я как-то наводила порядок в своих архивах и вот вспомнила об этой шкатулке. Помнишь, я тебе рассказывала, когда ты окончил школу, историю узелка из бинта?

Мать развязала узелок, и на ее морщинистой ладони тускло блеснули почерневшей медью две пули.

- Я хочу, чтобы ты сохранил их и по возможности передал вместе с историей внукам. Они - напоминание о той женщине, которая, жертвуя собой, спасла тебе, а возможно, и мне, жизнь.

- Я помню, мама, твой рассказ, но уже смутно многие его детали. Расскажи, пожалуйста, подробнее.

* * *

Более двух часов разговаривали, сидя на скамейке в привокзальном скверике, миловидная смуглая женщина в потертом драповом пальто и худенькая, с бледным лицом девушка в шинели с погонами лейтенанта медслужбы и в военной шапке-ушанке.

Неподалеку одетый в умело перешитую из военного ватника куртку маленький мальчик лет пяти кормил голубей, которые безбоязненно сновали и клевали крошки у самых ног малыша.

Женщина, слушая военврача, часто подносила платок к глазам. Она благодарно смотрела на собеседницу и с нескрываемой нежностью изредка касалась вздрагивающими пальцами рукава ее шинели...

... Немецкий пулеметчик засел на чердаке углового дома и простреливал каждый метр заснеженной городской площади и всю прилегающую к ней центральную улицу.

Санинструктор Стеша, прижавшись к выщербленной кирпичной стене, выжидала удобную минуту, чтобы проскочить на другую сторону улицы. Надо только как можно плотнее упереться спиной в холодную шероховатую кладку и, резко оттолкнувшись, на одном дыхании рвануться вперед. Тогда можно успеть добежать до противоположного дома, в подвале которого располагался временный перевязочный пункт.

«Пора!» - решила Стеша, как только смолкла очередь фашистского пулеметчика. И вдруг увидела, как из-за угла соседнего полуразрушенного дома, не спеша, на открытом

пространстве простреливаемой улицы показалась крошечная фигурка, укутанная в непомерно большую женскую жакетку, крест-накрест перевязанную за спиной серой шалью.

- Ребе-енок... - ошарашенно и похолодев, прошептала Стеша.

И тут же впереди фигурки малыша взметнулись снежные фонтанчики. Ребенок остановился, с интересом посмотрел на фонтанчики, снова шагнул вперед и вдруг, тоненько вскрикнув, рухнул на снег...

Стеша рванулась к малышу, в несколько прыжков была уже рядом с ним и схватила на руки. Пули веером ударили в стену над ее головой, обожгли кирпичной крошкой щеку. Стеша заслоняя корпусом раненого ребенка и крепко прижимая его к груди, метнулась на противоположную сторону улицы к перевязочному пункту. Но, не добежав, почувствовала, как ударило сзади в плечо, и обжигающая боль растеклась по правой стороне тела.

Она с трудом добралась до подвала, где располагалась медчасть и, чувствуя, как красная пелена застилает глаза, опустилась на битый кирпич у входа.

- Доктора... скорее... - спекшимися губами прохрипела она.

Подбежавший санитар бережно принял из ее слабеющих рук безжизненное тельце ребенка...

Стеша очнулась утром вскоре после операции. Хирург - военврач их медсанбата склонился над ее изголовьем.

- Как девочка? Жива? - слабым голосом еле слышно прошептала Стеша.

- Почему девочка? Мальчик.

- Правда? - раскрыла удивленные глаза Стеша. - А я думала...

- Жив, жив. Не волнуйся. Ранен, но не опасно. Хороший мальчуган. Где ты нашла такого?

- Там больше нет, - слабо улыбнулась Стеша. - Один был...

Врач поправил одеяло, повернулся к выходу, но тут же вернулся, порылся в карманах халата.

- Да-а. Вот на память, - и положил поверх одеяла маленький сверточек из бинта. - Это тебе и твоему спасенному пацаненку вечный гостинец от фашистского пулеметчика...

Наступил март. Снег почти сошел, лишь в тени развалин кое-где сохранились еще грязные осевшие и ноздреватые сугробы. За окнами госпиталя звенела капель, ворковали оживившиеся голуби.

Линия фронта отодвинулась далеко на запад. Город залечивал раны. Расчищались и ремонтировались мостовые, восстанавливались дома, возобновилось движение трамваев.

Рана Стеши затянулась, однако рука все еще была на перевязи. Пошел на поправку и спасенный ею малыш. Было ему лет пять, не более. Мальчик и впрямь был хорош. Темно-русые курчавые волосы, огромные глазенки, припухлые, как будто накрашенные губки.

Стеша упростила военврача перевести мальчика в ее палату. Кормила с ложечки, напевала ему вечерами перед сном простенькие песенки, какие слышала в детстве от своей матери. Подолгу, когда мальчик спал, сидела, склонившись над ним, и с тревогой думала, что будет с малышом, когда его и ее выпишут из госпиталя? Найдется ли мать пацана? Да и ей нужно возвращаться в свой медсанбат. А она уже так привязалась к мальчонке.

И вот раненое бедро малыша почти зажило. Он начал ходить. Трогательно прихрамывая, он ковылял по палате и коридорам госпиталя, а устав, взбирался к Стеше на кровать и затихал, прижавшись к ее плечу.

Еще в первый день, когда мальчика перевели к ней в палату, она спросила его:

- Как тебя зовут?

- Рома... Мама меня звала Ромашкой, а я потерялся...

А через две недели Рома однажды утром спросонья по-

ткнулся к Стеше, обхватил теплыми со сна ручонками ее за шею и прошептал: «Мама-а»... Стеша замерла. Сердце зацемило в сладкой истоме. На глаза навернулись слезы...

К дню выписки из госпиталя санитары помогли Стеше перешить на малыша солдатский ватник в курточку, а военврач где-то достал очень хорошенькие и в самую пору маленькие сапожки. Так, общими усилиями пацаненок был одет с ног до головы.

После выписки из госпиталя Стеше предоставили отпуск для поездки домой на Урал.

И Стеша с болью в сердце принялась за поиски матери и кого-нибудь из близких мальчугана, хотя в душе помимо воли надеялась, что никто не найдется. Знала, что грешно об этом думать, тем более желать этого, но ничего с собой поделать не могла.

Бродя с мальчиком по городку, Стеша тихо спрашивала:

- Рома, где ты раньше жил... с мамой?

- В большом-большом доме. Вот... в этом, - и тыкал пальчиком в очередное полуразрушенное здание.

Так, в бесплодных поисках прошло три дня. И никто нигде не подсказал, не указал адреса мальчика. Все, кто встречался, вздыхали, виновато смотрели на девушку в военном, а женщины, выслушав Стешу, смаргивали набежавшие слезинки и охотно соглашались приютить мальчика у себя, пока не найдутся его родители. Стеша, поблагодарив сердобольных женщин в очередном доме, подхватывала малыша на руки и торопливо уходила.

Обшарив весь город, Стеша, наконец, облегченно вздохнула и, заметно повеселев, направилась на вокзал. Оформила в военной комендатуре проездные документы до родного города на Урале и, крепко сжимая в своей ладони Ромкину ручонку, вышла на перрон.

До отхода поезда оставалось более трех часов. На перроне

толпился народ. Из приходивших составов выплескивались все новые и новые толпы людей. В город возвращались беженцы, его прежние жители, кто с узлами, котомками и чемоданами, а кто и налегке.

Стеша присела в скверике на скамейку, сбросила вещмешок. Ромка бросился к стайке голубей, снующих на дорожке. Стеша улыбалась. Она сделала все, чтобы найти мать и близких мальчика, и она не виновата, что они не нашлись. По-видимому, они погибли. «Сейчас я поеду домой, оставлю Ромку с мамой, а кончится война, вернусь и заживем», - думала она.

- Мама, дай хлебушка, я птичек покормлю, - подбежал малыш.

Стеша с глухо бьющимся сердцем отломила от буханки краюшку черного и подала ребенку. «Ма-ма-а...» - какое нежное и емкое слово. Малыш побежал к голубям. И вдруг, как будто споткнувшись, остановился, уставившись на бредущую вдоль заборчика привокзального скверика невысокую женщину в драповом пальто.

- Ма-а-ма-а! Ма-амочка-а! - дико вскрикнул он и бросился к женщине.

Женщина резко вскинула голову и, качнувшись, бросилась перед подбежавшим мальчиком на колени. Обхватив его головку руками, долю секунды смотрела в лицо и, прижав к груди, затряслась в беззвучном рыдании.

Стеша, холодея внутри, медленно поднялась на непослушных ногах...

...Они сидели на скамеечке в привокзальном скверике и разговаривали уже больше двух часов. Малыш кормил крошками голубей.

Часто прикладывая к глазам платок, миловидная смуглая женщина прерывающимся голосом в который раз повторяла:

- Вы не только сына, вы и меня спасли... Я отчаялась... Я

бы не перенесла... Наш дом разбомбили, и мы с сынишкой жили в одном из полузасыпанных подвалов. Когда начались бои за город, почти никуда не выходили. И вот, когда была сильная стрельба, сын запросил пить. Я выскочила из подвала, чтобы набрать в кружку снега, и тут почти рядом разорвался снаряд. Я больше ничего не помнила, - женщина на мгновение умолкла, судорожно вздохнула и продолжала. - Очнулась в машине. Вместе с ранеными солдатами меня привезли в полевой госпиталь в пригороде. Контузия была тяжелой... Неделию назад вернулась в городок. Обшарила каждый подвал, каждую развалину. И ничего... Часто ночую на вокзале. Уже, грешным делом, в минуты отчаяния думала: «Не найду сына - наложу на себя руки!» И вот вы спасли меня...

Стеша медленно поднялась, чувствуя какую-то усталость и разбитость в теле. Одним движением забросила тощий вещмешок за спину. Молодая женщина встрепенулась.

- Куда же вы теперь?

- На фронт. Догонять свою часть, - севшим голосом, еле слышно ответила Стеша и, вдруг спохватившись, расстегнула шинель, достала из нагрудного кармана гимнастерки крохотный марлевый сверточек.

- Вот наша с Романом памятка от фашистов. Сохраните для него на память, - и положила на раскрытую ладонь женщины отливающие тусклой медью две пули.



ПОДАРОК

(Рассказ)

Владимир с трудом протиснулся к прилавку и, поправляя съехавшую на глаза шапку, обратился к молоденькой продавщице:

- Будьте добры...

Но его перебил старичок с бородкой клинышком:

- Нехорошо, молодой человек! Без очереди. Нехорошо...

- Извините. Тороплюсь я.

- Всем некогда, всем, - не унимался старичок.

“Ну, началось”, - поморщился Владимир.

В очереди преобладали мужчины. Слышались просьбы:

- Мне, пожалуйста, парфюмерный набор.

- А мне вон ту дамскую сумочку. Нет, нет, не коричневую, черную.

“Все берут подарки к завтрашнему празднику - 8 Марта”, - подумал Владимир. - И это здорово, что моя полочка совпала с этим праздником”.

Рядом мужчина в темно-синей шляпе и модном пальто разговаривал с высоким парнем.

- Что взять жене, ума не приложу. Шляпки у нее уже есть всех мастей и страстей. Дамские сумочки также... Может, парфюмерию?... А вот дочке я уж возьму вон ту куклу. Обрати внимание на полку сверху, что третья с краю. Симпатичная кукла, правда? Вот обрадуется... - Мужчина говорил еще что-то, но Владимир уже не слышал. Кукла какой-то девочке вызвала воспоминания о его собственном детстве.

...Последнее время отец приходил с работы хмурый и, раздевшись, молча проходил в комнату, забыв почему-то поздороваться с сыном, как он делал это раньше. Если Вовка подходил и пробовал влезть ему на колени, он отстранял его, говорил:

- Оставь меня, я устал сегодня.

В доме повисла гнетущая тишина. Это действовало даже на самого Вовку. Часто, сидя за столом, он искоса наблюдал за родителями. Отец, низко опустив голову и тупо уставившись в тарелку, хлебал щи. Мать смотрела грустными и покрасневшими глазами на его склоненную голову и вздыхала. Однажды за ужином мать неожиданно заплакала, уткнувшись лицом в передник. Отец вскочил, бросил ложку на стол, закричал:

- Хватит! Мне осточертело это!

Вовка испугался и убежал в комнату, спрятался за свою кровать. Тогда в его душу закрался страх, недетский, непонятный. Из кухни доносился сердитый голос отца и рыдания матери. Кусая губы и сжимая кулачки, Вовка плакал, плакал тихо, давясь слезами, чтобы не услышали. Наконец, успокоившись, он уснул и не слышал, как мать осторожно перенесла его в кровать.

На другой день Вовка долго ждал отца с работы. Мать весь вечер просидела за столом с окаменевшим лицом, осунувшаяся и сгорбленная. И когда Вовка влез ей на колени, она вдруг резко привлекла его к себе, прижала и заплакала. Заревел и он, уткнувшись ей в сотрясающуюся грудь.

Так отец и не пришел. Не пришел он и на завтра. И вообще никогда. Мать устроилась на работу. Домой приходила поздно. С того вечера кончилось для Вовки беззаботное детство.

Часто он с завистью наблюдал, как соседские ребяташки играли на улице в свои игрушки: заводные машинки, пистолетки. Были и у него игрушки - старый часовой механизм от ходиков и этикетки от спичечных коробков, которые он аккуратно складывал в картонную коробку из-под мыла. Ими он играл, когда оставался дома в долгие часы отсутствия матери, уходившей на работу.

Вначале приходили деньги от отца. Вовка не знал, где он, но у матери не спрашивал. Потом не стали приходить день-

ги. Исчез из дома комод. Его унесли какие-то люди. В комнате опустело. Потом мать продала свое новое зеленое пальто. Но вырученных денег хватило ненадолго.

Часто мать, придя с работы, тяжело садилась на табурет, бессильно уронив руки на колени, и грустными глазами смотрела, как Вовка, высунув от усердия язык, чистил картошку, стараясь как можно тоньше срезать кожуру. Она подходила к нему и, присев на корточки, молча гладила по голове. Вовка чувствовал ее трясущуюся тяжелую руку, сопел, крепился, чтобы не расплакаться и не кинуться ей на шею.

Шло время. Взрослел Вовка. Теперь он начинал понимать все происходящее в жизни. Как-то он слышал на улице, как судачили соседки:

- Бросил подлец Максим Груньку с дитем и не помогает. Мается бабенка на белом свете. Специальности никакой. Работает разнорабочей. Мыслимое ли дело, с ее-то здоровьем.

Только теперь дошел до него смысл этого разговора женщин. Ему стало нестерпимо жаль мать, даже защищало глаза.

Вовка окончил семь классов и поступил на работу учеником фрезеровщика в механические мастерские. Шел 1956 год. И вот завтра 8 марта...

- Вам что, юноша? - раздался голос продавщицы.

- Мне? - вздрогнул он от неожиданности и, растерявшись, несвязно пробормотал. - Я... Мне... я маме... Мне вон ту блузку и косынку.

Прижимая сверток с подарками, Владимир заспешил домой. День был на исходе, солнце клонилось к закату. На поселок опускался вечер.

Владимир открыл дверь, разделся и прошел в комнату, которая служила им с матерью одновременно и гостиной, и спальней. И вообще их домик состоял из крохотной прихожей, почти такой же кухоньки и вот этой комнаты.

Матери еще не было. Владимир разложил подарки на сто-

ле, рядом положил остатки полочки. Прошел на кухню, разогрел на плитке суп, похлебал его без всякого аппетита и, не раздеваясь, прилег на диван.

Вскоре заскрипел снег на крыльце. Владимир зажмурился, притворился спящим. Мать вошла. Слышно было, как она раздевалась в прихожей, плескалась под умывальником. Затем вошла в комнату, увидев на диване спящего Вовку, повернулась и на цыпочках прошла на кухню. Было слышно, как она, позвякивая ложкой, наливала разогретый суп. Не торопясь, ужинала и одновременно отдыхала после подсобки магазина, в котором работала грузчиком и техничкой.

Незаметно для себя Владимир задремал. Мать вновь вошла в комнату, постояла и вдруг взглянула на стол, подошла, взяла блузку, долго смотрела на нее с недоумением. Потом прижала ее к груди, повернулась к дивану. По ее щекам ползли крупные слезы...



ГОСТЬ

(Рассказ)

Нахомыч обмахнул голиком валенки, медленно поднялся на крыльцо. Постоял, потом оглянулся, осуждающе покачал головой.

- И что ты за интеллигент, Черный? Ну, обязательно тебе нужно приглашать: сделайте милость, войдите.

Внизу, у нижней ступеньки крыльца, сидел вислоухий пес и выжидающе смотрел на хозяина. Его черная шерсть с

рыжеватыми подпалинами на боках и загривке заиндевела от мороза и в лунном свете казалась седой. Услышав голос Пахомыча, пес радостно вильнул хвостом и первым шмыгнул в распахнутую дверь.

Клубы морозного пара, обгоняя вошедших, поползли от порога к печи, но, не достигнув цели, бессильно расползлись по полу, забились в щели. Замигала на столе керосиновая лампа, и по стенам заплясали причудливые тени.

Покрякивая, Пахомыч повесил полушубок на гвоздь у двери и, шаркая валенками, прошел к столу. Прибавил фитиль в лампе и вновь обратился к собаке, которая, положив морду на передние лапы, устроилась у вороха дров в углу.

Он всегда разговаривал с ней, спрашивал, сам же отвечал. В хорошем настроении подтрунивал над ней, а в долгие зимние вечера рассказывал забавные истории из своей жизни, вспоминал. К причудам хозяина пес привык, слушал, вилял хвостом, а когда тихий голос старика начинал предательски дрожать, пес поднимался, подходил к хозяину и клал голову ему на колени. Его черные умные глаза в такие моменты просили: " Не надо, хозяин. Что было, то прошло. Я понимаю, тяжело в одиночестве, но что поделаешь..."

- Что, Черный, жмет мороз-то? - спросил Пахомыч, кивая на разрисованное морозом окно.

Черный, не поднимая морды, чуть-чуть шевельнул одним ухом и пару раз стукнул хвостом по полу.

- Жмет, - продолжал Пахомыч. - А помнишь, я тебе позавчера говорил, что сменится погода? Все кости проклятый ревматизм изломал. Так оно и вышло. Видал, как завернул...

Пахомыч посмотрел на ходики.

- Ого! До Нового года-то осталось всего ничего. Эдак мы с тобой без праздничного стола останемся.

Кряхтя, он опустился на колени и, сдвинув в сторону половик, открыл крышку лаза в подпол. Спустился по скрипучим ступенькам вниз, подсвечивая себе керосиновой лампой,

набрал тарелку соленых огурчиков, выставил наверх литровую банку соленых груздей, зачерпнул из липового бочонка миску меда с кусками сотов и нацедил из фляги графинчик медовой настойки, от которой в нос ударило ароматом не только майского меда, но и зверобоя, девясила, а также букетом других трав.

Без пяти двенадцать Пахомыч налил стопку душистой настойки, повернулся к собаке.

- Вот и еще год прошел. Ну, с Новым годом тебя, брат! На. - Пахомыч подал псу ломоть хлеба и кусок вареного мяса.

Черный вежливо принял свою долю и, благодарно взглянув на хозяина, не торопясь принялся за трапезу. Пахомыч опрокинул в рот стопку, крикнул, шумно выдохнул и зачерпнул ложкой в миске с медом.

- Так-то, Черный. Семьдесят раз встречал я этот день, а вот так не приходилось. Тебе что. Ты тварь бессловесная. Да ведь и ты не можешь без людей... А мне-то как без человеческого слова?

Несколько минут Пахомыч молчит. В гнетущей тишине слышно, как потрескивает в лампе фитиль и в подполе скребется мышь.

- А ведь мог приехать Петька к отцу. Мог. Но не захотел... Да и что ему здесь?.. Там город, люди, веселье. А здесь край тайги. Захолустье. От бывшей многолюдной деревни осталось от силы пять завалившихся домов. Да и к тем после пурги без лыж не доберешься. Кому охота пять верст от станции на лыжах шагать?.. - старик вздыхает и на несколько минут умолкает вновь.



- И телеграмму не прислал. Не поздравил, - наконец тоскливо роняет он и запускает дрожащие пальцы в густую шерсть на загривке Черного. Пес кладет старику на колени голову и тоже тяжело вздыхает. Пахомыч невидяще смотрит на темное окно, теревит собачьи уши и автоматически водит узловатым пальцем по столешнице, растирает клейкую каплю янтарного меда.

За окном гулко щелкает треснувшее от мороза бревно в стене избы. Пахомыч вздрагивает, отрывается от окна.

- Крепчает мороз-то, Черный. Слышь, как рвет дерево.

...Пахомыч проснулся поздно. Проснулся, когда в промерзшее окно уже пробивался серый рассвет. Черный, потянувшись, подошел к кровати и гавкнул.

- Встаю, встаю. Привет, Черный. Ну и спим же мы с тобой. Так все царство небесное проспаться можно, - спуская ноги с кровати, пробурчал Пахомыч на приветствие Черного. - Стареем, брат, стареем...

Черный сбежал с крыльца первым и, радостно виляя хвостом, затрусил к омшанику. Пахомыч открытым ртом глотнул морозный воздух и, поперхнувшись, закашлялся. Крякнул, поднял воротник полущубка.

- Красота-а, - начал было он и осекся на полуслове. В морозной мгле между деревьями мелькнула фигура человека. Человек двигался в его сторону. Вот он остановился, поправил шапку и, увидев на крыльце Пахомыча, замахал рукой.

У старика радостно заколотилось в груди. "Мать честная, так это же Петька, сын. Не забыл, приехал", - задохнувшись от счастья, подумал он и заспешил, затрусил навстречу. Но человек приблизился, и радость старика угасла. Это был не Петька. К Пахомычу, широко размахивая руками, приближался парень. Что-то знакомое было в его облики, но как ни приглядывался Пахомыч, узнать не мог.

Парень издали весело закричал:

- Здравствуйте, Илья Пахомыч! С Новым годом вас! - захавшись, остановился рядом и, рывком сдернув рукавицу, протянул руку Пахомычу. - Понимаете, вчера опоздал на поезд и вот только сейчас добрался... Специально к вам... Поприведать, с Новым годом поздравить... Да никак не узнаете меня, Илья Пахомыч? Это ведь я, Алешка! Помните?

Ух ты! Какой неожиданный гость! Как же, как же. Помнил Пахомыч Алешку. В прошлом году останавливались на его пасеке три геолога. Возвращались из тайги на базу. Тогда двое из них привели под руки этого самого Алешку. Обессилел он, весь горел. Лодка перевернулась, и парень выкупался в ледяной воде. Выходил тогда его Пахомыч, отпоил медом и травами.

Старик засуетился вокруг гостя:

- Ты лыжи-то, лыжи снимай. Промерз, поди? Экий мороз-то. Вот не ждал, вот не ждал... - и украдкой смахнул рукавицей что-то со щеки.

ПОДСНЕЖНИКИ

(Рассказ)

На работу Серега ходит самой короткой дорогой. Проулок, где он живет, упирается в большой парк, в глубине которого сквозь узловатые ветви старых берез и тополей проглядывает крытая шифером крыша больничного корпуса. Вот через этот парк и ходит Серега.

Конечно, до мастерских, где работает Серега слесарем, можно идти и центральной улицей, но это порядочный крюк. А через больничный парк метров на двести короче.

Когда Серега идет по тропке мимо больничного корпуса, его всегда берет робость. Робеет он и перед чуткой, насто-

женной тишиной вокруг, и перед белоснежными занавесками на широких окнах, и перед тонким, острым запахом лекарств, которыми, кажется, пропиталась здесь кора деревьев, снег и даже сама земля. Запомнился ему этот запах еще с детства, когда болел скарлатиной.

Как только тогда не обманывала его мать, чтобы выпить очередной порошок или таблетку. И к сахару подмешивала, и в шоколадные конфеты вместо начинки прятала, и даже с медом пробовала разводить. Вот с тех пор и возненавидел Серега все эти бутылочки с микстурой и белые пакетики. Если в школе случалась очередная прививка, Серега портфель в охапку — и на пруд. Ну, а вечером от отца — очередная взбучка.

Однажды в начале марта, когда первая робкая капель истыкала, точно прутиком, снег вдоль стен домов, Серега, торопливо шагая мимо больничного корпуса, равнодушно скользнул взглядом по окну у самой веранды. Глянул и... споткнулся. За окном, откинув белоснежную занавеску, стояла девушка.

Это было так неожиданно, что Серега приостановился. За всю зиму не мелькнуло за этим окном ни одного лица, и на тебе — девушка! Но она не смотрела на него. Она смотрела поверх его головы, куда-то в глубь парка. И тут только Серега заметил, что девушка тяжело опирается на костыли. Узкие плечи ее острыми углами почти касались русых завитушек под мочками ушей.

На работе в тот день нет-нет да и вспоминал Серега девушку в больничном окне. Явственно вставали складки белоснежной занавески, а рядом — бледное лицо. Худенькое, скуластое, с впалыми щеками, тонкой, еле заметной ниточкой бескровных губ, чуть вздернутым носиком и широко раскрытыми глазами... Эти глаза почему-то отпечатались в памяти особенно четко. В них застыло не то удивление, не то растерянность, в них была неподдельная тоска.

На следующее утро Серега, поравнявшись с верандой, уже с любопытством взглянул на окно и, к своему удивлению, почувствовал, как что-то радостно колотнулось в груди — она здесь! И Серега вдруг понял: оказывается, он ждал этой встречи, думал о ней и даже чуть-чуть волновался, подходя к больничному корпусу. Да, она стояла на том же месте, почти прильнув бледным лицом к холодному стеклу, и жадно всматривалась — вот именно, не смотрела, а всматривалась — в запорошенные деревья (ночью шел снег). Девушка медленно опустила глаза, равнодушно скользнула по Серегину лицу и снова перевела взгляд на деревья. Вот так, как будто и не существовало Сереги на тропке внизу.

Прошла неделя. И всякий раз, когда Серега по утрам приближался к больничному корпусу, его охватывало трепетное ожидание. Ноги сами собой спешили к корпусу, а затем приостанавливались напротив знакомого окна.

А руки, проклятые руки, выдавали Серегу с головой. Они то выныдывались к кепке и нервно поправляли выбившиеся из-под нее волосы, то кидались к верхним пуговицам комбинезона, из-под распахнутых бортов которого выглядывал голубенький воротничок рубашки, то суетливо шарили по карманам, что-то искали, мяли и противно дрожали. Но девушка, как всегда, не замечала его, она... она плакала...

Серега ежедневно видел, как на ее длинных, чуть загнутых вверх ресницах поблескивали слезы и худенькое лицо искажалось от внутренней боли...

На работе Серега не находил себе места, все валилось из рук. Пашка, дружок, приставал с вопросами:



- Ты чего, Серый, такой вареный? Что-то случилось? Может, втрескался?..

Но Серега не слушал. Он молча уходил или в инструменталку, или к токарям в соседний цех. Пашка, растерянно хмыкая, крутил мазутным пальцем у виска и шел к своему верстаку...

Солнце пригревало все сильнее и сильнее. Снег серыми ноздреватыми глыбами лежал лишь в тени заборов и строений. Мутные лужи в придорожных канавах и на дорогах слепили прохожих, в них отражалось бездонно-голубое небо. Прилетели скворцы. Их залихватские трели будоражили утреннюю тишину на восходе солнца.

В парке стоял дурманящий настой из прелых листьев, набухающих почек, талой земли и пробивающейся клейкой травки. Потеплело. Многие окна больничного корпуса распахнулись навстречу солнечным лучам.

В одно из таких утр она не пришла к окну. Серега долго топтался у веранды, тоскливо смотрел на неподвижные занавески. Ему показалось, что откуда-то повеяло холодком. Опять защекотал ноздри ненавистный запах лекарств.

Не пришла она и на следующее утро, и на следующее... В эти дни Серега подходил к проходной мастерских, когда уже начинался рабочий день.

Появилась она дней через пять. Серега заметил ее еще издали. Девушка, навалившись на костыли, стояла на веранде, еще более осунувшаяся, с ввалившимися глазами. Легкий ветерок шевелил ее русые локоны, распахивая полы серого больничного халатика. Она смотрела на вершины деревьев, плывущие облачка и впервые улыбалась.

Серега постоял за деревьями, потоптался и вдруг, развернувшись, зашагал назад, к центральной улице. Шагал и чувствовал, как внутри поднимается что-то теплое и крылатое, а что, он и сам не мог понять.

...Проснулся Серега, когда за окном еще только-только начало синеть. Быстро оделся. Мать приподнялась на кровати:

- Ты куда в такую рань?

- Срочный заказ, мам. Просили прийти. - Серега тихо приотворил дверь в спальню.

Вскоре он уже был на опушке леса. Тишина. Только чавкает под сапогами влажная почва да где-то рядом за кустами тихо бормочет весенний ручеек. Разгорается заря на востоке. Вот-вот начнет всходить солнце. День обещал быть теплым и тихим. И она должна выйти на веранду.

Бережно прикрывая полую куртки руку, Серега шагал через парк. В окнах больничного корпуса еще было темно, белыми пятнами маячили задернутые занавески. Серега подошел к веранде, осторожно откинул полу, и брызнули, рассыпались веером колокольчики подснежников. Он аккуратно положил букетик на перила и, не оглядываясь, с гулко бьющимся сердцем, заспешил к мастерским...



РОМАШКА

(Рассказ)

Журналистские пути-дороги завели меня как-то в один из провинциальных городков юга Кузбасса - Мыски. Тихий, малолюдный городок - даже гостиница для приезжих и та одна, всего на несколько номеров, но и в ней свободных мест не оказалось. Только к вечеру освободилась койка в двухместном номере, куда меня и подселили.

На правах хозяина в номере обитал мужчина средних лет

весьма приятной наружности. Познакомились. Михаил Иванович оказался мужиком компанейским. Был он родом из предгорий Алтая, работал на стройках Запсиба, в Мыски приехал во главе слесарей-монтажников оказывать помощь в проведении пуско-наладочных работ при монтаже оборудования Томь-Усинской ГРЭС и Мысковской ЦОФ.

Днем мы с ним мотались по своим делам по городку и стройкам, а вечером наслаждались пивком в гостиничном буфете, а когда он закрывался, перебирались в номер, прихватив с собой запотевшие бутылки с любимым напитком. Иногда засиживались до третьих петухов. Говорили о многом: о делах на стройках, о политике, о проблемах молодежи, о жизни. И я заметил: когда заходила речь о женщинах, о взаимоотношениях полов, о любви - Михаил мрачнел, замолкал, и у него влажнели глаза.

Но однажды его прорвало.

- Хотите, я расскажу вам одну историю... Историю о любви и подлости, - вдруг сказал он с какой-то ожесточенностью, будто собирался прыгать в воду с большой высоты, притом впервые в жизни. Его взгляд точно подернулся непроницаемой пленкой, ушел в себя.

Я закивал головой, но он не обратил внимание на мой утвердительный жест, да и не нуждался в нем - ему нужно было выговориться. Вот его рассказ, без купюр, таков, каков он есть.

...Сквозь зелень пихтового лапника ее белое в желтый горошек платье казалось своеобразной ромашкой в густой траве. Ее смех, путаясь в хвое, будил чуткую тишину осеннего леса. Пучки лучей, пробиваясь сквозь вершины пихтача, золотыми столбами вращались в седоватый мох.

Она убегала от меня, как всегда, веселая и жизнерадостная. Вот, мелькнув пару раз меж стволов, скрылась за поворотом тропинки ее легкая фигурка в белом платье. Какое-то время слышался ее звонкий голос, напевающий: «...Не слышны в саду даже шорохи...», - но и он затих, угас на опушке

лесочка. А я все еще стоял на крошечной полянке, ощущая ее теплую руку в своей, и как будто слышал ее тихий голос: «До свидания. Мне нужно на ферму. Не сердись...».

Звали ее у нас в деревне Ромашкой, скорее всего из-за фамилии - Ромашина. Маленькая, тоненькая, она и впрямь походила на нежный полевой цветок. И я любил Катюшу-Ромашку мою до безумия. Я не мог дожидаться вечера, чтобы бежать в клуб на танцы, куда собиралась вся наша молодежь, куда приходила и она с подругами. После танцев мы, взявшись за руки, уходили за околицу и сидели на лавочке почти до рассвета. Я частенько бегал к ней на ферму, где она работала вместе с матерью телятницей, помогал ей, а управившись с делами, мы бежали на речку, купались, нежились на солнышке. Время летело незаметно.

Приближалась зима. Деревья облетели, и в голых ветвях носивистывал ветер. Часто по утрам на землю ложился седой иней, а днем падала марлевая сетка дождя.

Сегодня день выдался не по-осеннему теплый, будто солнце в последний раз решило обласкасть озябшую и промокшую землю. С Катюшей я встретился, как всегда, в лесочке за околицей.

- Знаешь, - заговорил я, замаявшись, - я уже говорил с мамой... Давай на 7 ноября сыграем нашу свадьбу...

Она прижалась ко мне, взяла мои руки в свои.

- А ты уверен, что я пойду за тебя замуж? - тихо, с какой-то хитрецей в голосе, спросила она.

- Ты что, не любишь меня?! - внезапно похолодев, прокричал я.



Она засмеялась, оттолкнула меня ладошками в грудь и побежала к опушке, оглянувшись:

- Дурачок! Конечно, люблю!.. Люблю!.. Приходи свататься...

...Уже смеркалось, когда я вышел из дома. Вдруг завывала сирена на подстанции, завывала тревожно. «Что-то случилось!». Я заспешил к подстанции. И тут из-за поворота вылетела пожарная машина, помчалась к околице. Провожая ее глазами, я неожиданно увидел в небе зарево в той стороне, где находилась ферма нашего совхоза.

Кинулся напрямик, через лесок. Не видел, не чувствовал, как больно хлестали по лицу колючие лапы, как спотыкался о корни деревьев. И вот опушка. В лицо пахнуло гарью. Так и есть, горела ферма. Пламя уже охватило крышу, вырывалось из узких окон. Суетились люди.

Гудение пламени, треск горящих строений, крики людей, рев обезумевших животных захлестнули меня, закрутили в общей суматохе. Я кидал землю, таскал ведрами воду, помогал пожарным расправлять шланги и все время думал о Катюше - моей Ромашке, заглядывал в лица женщин, тушивших рядом. Несколько раз порывался спросить о ней, искал глазами ее фигурку, прислушивался к голосам, но ее не было. Облегченно вздохнув, уже начал успокаиваться, как услышал обрывок фразы.

- ...На «скорой» увезли. Довезут ли? Жалко девку... Надо же - из-за телят... полезла в самое пекло...

Больше я ничего не помнил. Куда-то брел, на что-то наткнулся, снова брел...

...Ромашка лежала в районной больнице. Долго боролись врачи за ее жизнь. Я часто, очень часто ездил в район и сколько ни просил, врачи категорически отказывались пустить меня в палату к моей Ромашке. Убеждали - ей повредит малейший стресс, который может привести к тяжелейшим последствиям. Это-то и сдерживало меня от необдуманных шагов.

Прошла зима. Когда горбом вздыбилась заезженная и изнавоженная проселочная дорога, Ромашку выписали из больницы. Я сидел на скамейке у крыльца больницы. У скворечника, прибитого к стволу еще голого тополя, захлебывались в экстазе скворцы. От талой земли поднимался еле заметный парок. Но я ничего не замечал, с гулко бухающим сердцем у самого горла, ждал. Хлопнула дверь. Я вскочил. Ромашку под руку вела медсестра. Точно кто-то ударил меня в грудь, и я откачнулся. Это была не Ромашка. На изуродованном лице - сплошные розовые шрамы.

...Михаил Иванович замолчал и надолго.

- Подлец я, - наконец, прошептал он. - Ничтожество! Бежал. Послушал людей, мать, говоривших: «Ты даже в люди с ней не сможешь выйти». Уехал. Думал, переломлю себя. Забуду... Не смог. Вернулся. И вот... Она не простила...

Михаил Иванович вновь умолк. В гостинице все спали. В нашей комнате стояла гнетущая тишина.



АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА

(Рассказ)

Попасть в Новокузнецк из нашего поселка - проблема. Утром, с шести до восьми, едут рабочие и служащие, работающие в городе, а уж потом автобус осаждают торговки с ведрами, корзинами, коробками и мешками. С весны и до глубокой осени «лихорадка наживы» трясет всех огородников поселка.

“Барыги” (так называют их у нас) на рынок везут все: рассаду, свежие и соленые огурцы, громадное число сортов помидоров, лук, редиску, укроп и другую всякую всячину из огородного произрастания.

Когда автобус подходит к остановке, все толкаются, кричат и норовят влезть в узкие двери все разом, да еще и со своим объемистым грузом в руках. Наконец, влазят, успокаиваются, вздыхают: “Ну, поехали”. И тут же начинают интересоваться друг у друга о ценах, о здоровье, сетовать на весенние заморозки, которые создали массу проблем в спасении и выращивании рассады.

На работу я езжу рейсом с восьми до девяти в самый разгар наплыва “барыг”. Этим же рейсом ездит и он – веснушчатый парнишка в темно-синей форме учащихся РУ. Ездим уже год. Отдавливают нам “барыги” в часы пик ведрами ноги, тычут в спины кулаками:

- Куда прешь-то? Не видишь - ведро?!

Я молчу - привык, а он - нет. Он все время огрызается, не дает спуску ни крикливым торговкам, ни богомольным старушкам в черных платочках, которые почти каждую субботу едут в какой-то молельный дом в Старокузнецке.

Выходим из автобуса мы тоже вместе на Левом берегу. Молча расходимся: я - в управление, он бежит к трамвайной остановке, торопится в Старокузнецк, в какое-то свое РУ.

Впервые я увидел его у причала еще весной в половодье, когда через Кондому ходил катер - единственный вид транспорта между городом и нашим поселком в весенний период. Он сидел на небольшом чемодане, сторбленный, с безучастным взглядом. У мальчишки горе и, видать, большое. В серых, чуть раскосых глазах влага: непрорвавшиеся слезы. Не очень красивое широкоскулое лицо перекошено внутренней болью.

Я подсел - не шелохнулся. Так и просидели молча у причала, а потом и на катере. День был на исходе. Солнце кло-

нилось к закату. Наши деревенские, да и я возвращались домой, в свой Абагур-Лесной.

С тех пор мы встречаемся с ним каждое утро. Приду на автобусную остановку, он уже там. Стоим, ждем и злимся, когда запаздывает автобус. Вначале обменивались просто взглядами, а потом незаметно начали здороваться кивком головы. Вижу - повеселел парнишка, потеплели глаза: время лечит.

Так постепенно мы сдружились. Теперь мы каждое утро пожимаем друг другу руки, улыбаемся и шутим:

- Ну как?

- Да так.

- А все-таки?

- Да все по-прежнему.

- Ну, смотри, чтобы потом разговоров не было...

И дружно хохочем. Зовут его Юрка, живет он у тетки, а учится в ремесленном на сварщика.

Но неожиданно Юрка исчез. Вот уже три дня, как я прихожу на остановку один. Что-то случилось. Этот вопрос мучил меня и сегодня на работе.

Часа два я не мог дозвониться до его РУ, ругался с нашими телефонистками, твердившими, как заводные:

- Выход в город занят.

Наконец, мужской голос в трубке сообщил:

- Юрий Сорокин? А-а, это тот... Лежит в больнице. Руку обжег, - и тут же пожаловался. - Разини, лезут куда не надо, а ты отчитывайся, акты составляй... А вы кто будете?... - я положил трубку на рычаг.

Осенний робкий морозец схватил поверхность лужиц хрусткими корочками. На бледном еще небе слабо замерцали первые звездочки. Зажигались огни в окнах домов, переливались всеми цветами радуги витрины магазинов, сновали прохожие, сгущались сумерки.

В полутемном фойе больницы посетителей трое. В углу

на диване сидит парень в очках с загипсованной рукой, девушка рядом с ним и я. Девушка что-то тихо рассказывает парню и постоянно хихикает. Остро пахнет йодом и хлоркой.

Молоденькая медсестра любезно попросила подождать и упорхнула за дверь. Юрка появился неожиданно, когда я, навалившись на подоконник, смотрел в потемневшее окно. Нарисовался рядом, несмело тронул за плечо. Больничный халат смешно болтался на нем, подчеркивая его худобу. Из-за незастегнутой полы видна забинтованная рука. Я повернулся.

- Ты? - удивился он.

- Я. Что, не ожидал?

- Я думал, кто-то из ремеслухи. Извини. Видишь, руки подать не могу...

- Как же ты так?

- Да вот так.

- Ну, а все-таки?

Глянув друг на друга, расхохотались. Наши шутливые реплики по утрам здесь казались неуместными. Сели в сторонке от парня с девушкой. Но разговор не клеился, что-то мешало откровенности. Однако барьер скованности постепенно начал рассасываться.

- Знаешь, - задумчиво заговорил Юрка, - мы вот с тобой совсем чужие, ничего не знаем друг о друге, а ты взял и пришел. Странно, правда? И вообще интересно устроена жизнь. А ведь я тоже ждал тебя: у меня даже брата нет, - заторопился вдруг Юрка, сбивчиво, проглатывая слова, и я с трудом улавливал ниточку его мысли. - Всея родни-то одна тетка, а ведь и папка с мамой были...

По Юркиному лицу пробежала какая-то внутренняя судорога.

- ...Мы и на рыбалку все вместе ездили. Не веришь? Отец, мать и я, - вновь оживился Юрка. - И с ночевками ездили.

Кстати, ты встречал когда-нибудь рассвет? Представляешь, сидишь у костра, а он уже затухает, еле-еле тлеет и уже серым пеплом подернулся. И до рассвета чуть-чуть осталось: звезды на небе все тускнеют и тускнеют. Сперва на востоке, у горизонта, появляется светлая полосочка, потом она начинает расширяться и вот уже расплзлась на полнеба. А над рекой легкий туман стелется, точно укрывает ее полупрозрачной простыней и спрашивает: "Поспи еще!" И тишина такая чуткая-чуткая, будто все вокруг еще дремлет, смежив веки... Обалденно!..

Часто по воскресеньям на рыбалку мы отправлялись втроем, с нами ездила и мама. Природа и свежий воздух заметно улучшали ее самочувствие: у мамы была астма и больное сердце. На берегу Томи мы ставили палатку, пекли в горячей золе картошку, а в жаркие дни плескались в воде...

Извини...Тебе неинтересны мои воспоминания? - Юрка повернул ко мне грустное лицо. И я опять, как тогда у причала, увидел на его глазах влагу. Он отвернулся и долго молчал. Молчал и я, мои реплики были неуместны.

- Но все это кончилось. Это случилось три года назад в один из апрельских дней, когда я заканчивал седьмой класс. Последнее время мама чувствовала себя плохо, и я торопился домой. Дверь нашей квартиры была чуть-чуть приоткрыта. Вбегаю. Остро пахнет лекарствами, и прямо у порога налетает мамин шарф. В комнате никого. Зашла соседка, рассказала, что у мамы случился приступ и ее увезла скорая, передала мамину просьбу - до прихода отца с работы из дома никуда не отлучаться. Ему уже позвонили на работу (он работал жестянщиком на автобазе).

Мучительно медленно тянулось время. За окнами затухил закат. В комнату на кошачьих лапках вполз сумрак. Стояла звенящая тишина. Так, не раздеваясь, прямо в пальто, я незаметно задремал на диване. Но когда скрипнула дверь, векинулся и сел. Отец щелкнул выключателем, вспыхнул

свет. Не снимая замасленной телогрейки, он тяжело прошел к столу, опустил на стул и закрыл лицо руками... Я понял все...

Юрка умолк. Что-то сдавило горло и у меня, защипало глаза. Я невольно протянул руку, положил ладонь на его колено, остро выпирающее под больничным халатом.

- Тяжело я перенес смерть матери, - хрипло продолжил Юрка, - но тяжелее, пожалуй, перенес ее отец. Он начал пить. Такого с ним прежде не случалось.

Шли дни, месяцы. Скрывать нечего - денег на питание почти не было. Часто приходилось собирать бутылки после отцовских попок, на стадионе, у киосков и сдавать на хлеб. А вскоре отца уволили с работы за пьянки и прогулы. После этого отец и не пытался искать работу. Какими-то путями он начал доставать жесть и дома из нее мастерил умывальники, которые продавал на базаре. А деньги тут же пропивал.

Пьянство отца угнетало. Стыдно было перед соседями и друзьями. Бывало, отец не появлялся дома дня по два, по три, а то и по неделе. Я находил его то в вытрезвителе, то на базаре в обществе таких же опустившихся и грязных пьянчужек. Были случаи, что его наказывали за мелкое хулиганство. Отбив наказание, отец принимался за старое. Когда случалось, мы были с ним наедине, он угрюмо молчал, виновато смотрел на меня и быстро уходил. Мне было жаль его.

Иногда, казалось, отец находил в себе силы завязать с пьянством. Переболев, шел устраиваться на работу, находил какое-нибудь временное занятие и преображался на глазах, веселел, шутил. Чумазый приходил по вечерам домой, бегал с кошелкой по магазинам. Мы вместе мыли пол и делали уборку в комнате. Такие дни напоминали наше теплое прошлое. Но они были недолгими. Проходил месяц, а бывало, и того меньше, и отец срывался.

После семилетки я поступил в ремесленное училище. А

вскоре стряслась еще одна беда. Отец по пьяни попал под поезд, его даже не довезли до больницы... Я перебрался в Абагур-Лесной к тетке...

Дежурная сестра подошла к нам.

- Большой Сорокин, пора на покой.

В фойе больницы никого не было. Мы и не заметили, когда ушли девушка и парень с загипсованной рукой.

На город опустилась ночь. Морозец окончательно расправился с лужицами, сковав их крепким ледком. Затихли голоса пацанов у подъездов. Низкие облака затянули небо, и к земле, медленно кружась, заскользили легкие снежинки.



НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ СВИДАНИЕ

(Рассказ)

Механический цех, если его можно так назвать, - совсем маленький. У одной стены - два слесарных верстака, у противоположной - токарные станки Михаила и Виктора.

Михаил - токарь-виртуоз, кажется, нет такой детали, которую бы он не смог выточить. Виктор же - нескладный паренек, окончивший всего месяц назад курс обучения токарному делу. Ему пока доверяют только изготовление болтов, шуток и шайб.

Осенний день на исходе, озябшее солнце сползает за гори-

зонт. Резкие порывы ветра гоняют в палисаднике с места на место опавшие листья. Палисадник - любимое место отдыха рабочих мехцеха и лесозавода, он расположен между ними. Здесь в обеденные перерывы они играют в домино на «высадку», а любители шахмат успевают сыграть пару партий. Сейчас в палисаднике пусто и голо, тополя и березы облетели, на столиках и лавочках - сухие ветки и опавшие листья, изредка по ним прыгают синицы, выскивают хлебные крошки, оставшиеся после прошлых трапез рабочих.

Виктор, выключив станок, несколько секунд смотрит через окно в палисадник, задумывается. На котельной завывла сирена, оповещающая об окончании рабочей смены. Выключает станок и Михаил, в цеху повисает тишина. Не спеша он начинает убирать в шкаф инструмент. Принимается за уборку и Виктор.

- Ты в кино сегодня идешь? - спрашивает Михаил.

- Да. Должны билет купить, - кивает Виктор.

- Кто? - с некоторым ехидством любопытствует Михаил.

- Да-а, - мнется паренек, чувствуя, как краска подступает к щекам и начинают гореть уши.

- Не та ли блондиночка курносенькая, с которой я тебя видел дня два назад у продмага? Ты еще притворился, что не узнал меня, когда я приходил мимо, - продолжал ехидничать Михаил, Виктор ответить не успел. В цех вошел мастер лесозавода Василий Степанович.

- Фу-у! - облегченно выдохнул он. Уж и не думал застать тебя, Михаил. Авария у нас. Полетел вал лебедки, подающей лес к пилораме. Задержись на часок, сделай...

- Ни фиги себе! На часок. С какой стати? Мне за сверхурочные не платят, а за спасибо ишачить не собираюсь! - обозлился вдруг Михаил.

- Ты что?! Какая тебя муха укусила? - растерялся от такого отпора мастер. - Ведь завтра смена простоят...

- А мне какое дело? Привыкли на халяву. Хоть сутки не

уходи из цеха. У меня - что, семьи нет? Если хочешь, чтоб остался, пиши наряд с учетом сверхурочных и трехкратной оплатой! - огрызнулся Михаил, не прекращая протирать станину.

- Ну ты даешь! Чтобы выписать такой наряд, мне нужно разрешение главного инженера лесоперевалки, а он в командировке...

- Тогда и разговаривать не о чем! - оборвал мастера Михаил.

Василий Степанович беспомощно затоптался у станка Михаила и вдруг, озлившись, махнул рукой.

- Хрен с тобой! Ставлю бутылку! — придвинулся он вновь к Михаилу, с надеждой заглядывая в лицо.

- За бутылку?.. Вал... - захохотал Михаил. - Дешево ценишь!

- Эх, ты! - зло плюнул мастер. - Крохобор несчастный! И откуда такие берутся? - матюгнувшись он и направился к выходу.

- Оттуда, откуда и ты! - огрызнулся вслед Михаил.

Он хотел что-то сказать еще, но махнул рукой, бросил ведро в мусорный ящик и пошел мыть руки.

Виктор слушал перепалку мастера с Михаилом и восхищался напарником. Надо же, как отбрил. Хоть мастер и небольшая шишка, а все ж начальство. А он его так... невзирая на личность. И в то же время недоумевал, как можно бросить все и уйти домой, если завтра из-за какого-то вала простоят целая смена лесозавода, а это почти 50 человек...

- Василий Степанович, - неожиданно для себя окликнул Виктор уже взявшегося за дверную ручку мастера и, чувствуя, как у него холодеет внутри, предложил: - давайте я попробую.

Мастер остановился, удивленно глянул на Виктора и медленно подошел.

- А не запрешь? После болтов точить вал, что в телеви-

зоре ковыряться... Ты с микрометром-то работал? - недоверчиво спросил Василий Степанович.

- Пробовал, - еще более смущаясь и почти испуганно проворкотал Виктор и уже начал жалеть, что окликнул мастера.

- А-а, - махнул рукой Василий Степанович, - испытание - не убыток! Сейчас рабочие принесут заготовку и сломанный вал для образца. - И убежал.

Подшел Михаил, насмешливо глянул на Виктора, не спеша застегнул телогрейку.

- Ну-ну! - хмыкнул он, похлопал зачем-то отвернувшегося к окну Виктора по плечу. - Не опоздай в кино. Курносенькая ждать будет. - И хлопнул дверью.

Вскоре двое рабочих принесли металлическую болванку и помогли Виктору закрепить ее между патроном и бабкой. Затянув кулачки патрона до упора, Виктор, мысленно перекрестившись, подвел к заготовке резец и почувствовал страшное волнение, как на школьном экзамене, когда дрожащей рукой и затаив дыхание брал со стола билет, моля бога, чтобы попался тот, который он вызубрил. Сзади, сопя в ухо, навис Василий Степанович.

Синей змейкой из-под резца зазмеилась стружка. Виктор вытер вспотевший лоб тыльной стороной ладони и оглянулся на мастера. Тот тоже перевел дух и ободряюще кивнул.

Прошло часа три с того момента, как Виктор начал работу. Михаил бы, конечно, управился за час и давно бы ушел домой, но он спец...

За окнами цеха окончательно сгустилась темнота. В промежутках, когда затихала трель шпинделя станка, было слышно, как по стеклам бьют порывы ветра и стучат капли дождя.

С огромным трудом и напряжением Виктор доводил чистовую обработку шеек вала под подшипники - особо точная и скрупулезная работа, чуть прослабил - и выбрасывай де-

таль в брак. Наконец, последняя шейка готова. Виктор и Василий Степанович в который раз промерили микрометром весь вал и сняли еще теплую и блестящую деталь со станка...

На улице шел дождь, хотя и не сильный, но нудный и холодный. Но Виктор не замечал его. На душе было хорошо и легко. Умиротворенно, мурлыкая под нос застрявшую в ушах глупую мелодию:

«Ой, Самара-городок!

Неспокойная я...», он шагал при свете фонарей прямо по лужам. Усталости и голода после двенадцатичасовой рабочей смены он совершенно не ощущал. Пробовал выплунуть надоевшую мелодию и не смог - прилипла, как ириска.

Мать встретила Виктора у калитки и, когда он появился из темноты, облегченно вздохнула:

- Ну, слава Богу! Наконец-то наш пропащий появился. Что случилось? Мы уже заждались. Отец волнуется, хотел одеваться и идти навстречу... - а позже, подавая сыну полотенце, когда он умылся, спохватилась: - Чуть не забыла, приходила Оля, возбужденная какая-то. Спросила тебя и, узнав, что нет, попросила передать билеты на киносеанс. Они вон на столе. Я попробовала поговорить с ней, но она со слезами убежала...



КОНОГОНЫ

(Рассказ)

Жарко горит костер сплавщиков на берегу реки. Вода в ней отливает в темноте чернильной синевой и у берега, накатываясь на прибрежную гальку, вспыхивает яркими блестками. Огонь от костра полыхает в ней до другого берега и даже выхватывает лапы пихтача, нависшего над песчаной отмелью. Розовый отсвет то расширяется, то морщится и извивается, то бледнеет, то накаляется до малинового цвета, смешиваясь с чернильным раствором, погружается в глубину, всплывает. Звезды плавают у берега, цепляясь за камни, бледно искрятся и подмигивая, точно причудливые камешки на дне.

Я наблюдаю, как искры взлетают вверх и, приплясывая, гаснут. Не спит и Колька. Время от времени он подбрасывает в костер сучья, лапник. По его лицу играют блики пламени, пробегая малиновыми волнами.

Хорошо лежать у костра, закинув руки за голову, смотреть на звездное небо и слушать ночь. Вот где-то совсем недалеко ухнул филин, да так жутко, что зашевелились волосы на затылке. Ему вторит не менее горластая еще какая-то ночная пернатая разбойница.

Сплавщики спят, расположившись у костра веером. Наша бригада из десяти мужиков движется вниз по реке Мрассу с так называемым «хвостом». Мы зачищаем, скатываем с обмелевших берегов бревна, разбираем заторы на перека-



тах и завалы на островках. Уровень воды падает с каждым днем, и нам приходится спешить, чтобы успеть до полного обмеления реки сплавить последние кубометры аварийной древесины.

Я и Колька в командировке на сплаве. Работаем мы на Абагурской лесоперевалочной базе, только в разных цехах: он - в тарном, я - в механическом. За эти несколько дней мы сдружились, и вся бригада называет нас «корешами». Мы с ним в бригаде самые молодые.

Заржала лошадь, Колька прислушался.

- Ты чего не спишь? - спросил он меня. - Завтра рано вставать. Видел вечером, какой завальчик нас ожидает? Придется крепко поработать.

Он присел рядом на корточки.

- Ты знаешь, - задумчиво произнес он, подгребая поближе к огню обгоревшие сучья, - сижу я сейчас и думаю... вот пройдет лет пятьдесят - сто... Интересно, какая тогда будет жизнь? Ну, насчет достижений науки и техники я не сомневаюсь. Автоматика будет главенствовать во всем. Может, целым заводом один человек управлять будет. Меня интересует другое. Люди. Какими они будут в то время?

- Обыкновенными. Какие сейчас. Только высокообразованными и более культурными, - ответил я.

- Ну, это понятно. А вот насчет - «такие, как сейчас», - я не согласен. Такие, какие мы есть, - не годимся в будущем...

- Это почему же? - удивился я.

- Да потому, что еще много паразитов среди нас. Очень много! Преступников, хапуг, лжецов и вообще нечестных людей.

- И все равно их меньше, - перебил я. - Вот ты к каким себя причисляешь?

Колька ошарашенно смотрит на меня, затем хмыкает, ворошит еще некоторое время прутиком головешки в костре и задумчиво смотрит в одну точку. И без того рыжие волосы его отливают в свете пламени бронзой.

Через все небо, наискось к земле, мелькнув белым хвостом, пронесся метеорит и, не долетев, потух, словно канул в воду.

Костер затухал. Колька подбросил веток и, когда пламя вспыхнуло с новой силой, стал устраиваться спать. Ночные звуки уплывали в сторону, растворялись, и я незаметно заснул.

Проснулся, когда солнце уже золотило вершины пихт, разливало свои лучи на поверхности реки, над которой пенился пар. Где-то тоненько пропела свою коротенькую песенку синица-пухлячок, и сразу же ей ответил лесной скворец.

Природа просыпалась.

Вскоре мы начали спускаться вниз по течению. Я с Колькой по берегу на лошадях, бригада с бригадиром Ильей Вершининым - в лодках. За крутым поворотом, где вода разбивалась о крутую скалу, углом упирающуюся в потоки, открывалось плесо. Здесь и находился островок, на котором полой водой нагромоздило огромным кострищем бревна.

Пока мы с другом добирались, сплавщики начали скатывать в воду первые сутунки. Слышалась команда Вершинина:

- А ну, еще раз! Еще раз! Петр, ты комель, комель подворачивай! - и тут же кричит нам. - Эй! Кореша, загоняй лошадей в воду! Тут мелко! Да пошевеливайтесь!

- Все бы ворчал, - беззлобно огрызается Колька. Лошади упираются, неохотно идут в бурлящий поток, осторожно ступают по дну, всхрапывают.

Вскоре работа пошла своим чередом. Сплавщики удавкой цепляют бревна, а мы, сидя верхом, погоняем лошадей. Они спотыкаются, скользят на камнях, обдавая нас каскадами брызг. Неприятно скрежещет галька под ползущими бревнами.

За работой время летит незаметно. Уже близок полдень. На небе ни облачка. По-летнему жарко. Пот заливает глаза,

от усталости дрожат руки. Нас с Колькой, вымокших до нитки, сменяют, и мы сушимся на берегу у костра. Обсохнув, помогаем сплавщикам разбирать залом.

Я подвожу петлю-удавку под очередное бревно, а Колька с Вершининым подаживают его баграми. Вершина его зажата где-то в середине залома. Лошадь под общее понукание начинает дергать, но безуспешно. Наконец, на третий раз бревно с хрустом трогается с места и ползет к воде.

- Эй! Поберегись! - кричит кто-то сзади.

Я не обращаю внимания, считая, что это не мне. Неожиданно слышу отчаянный крик Кольки:

- Толька!..

И тотчас чувствую толчок и, отлетев в сторону, вижу, как одно из бревен с глухим стуком врежется одним концом в то место, где я только что стоял. Мелкими брызгами разлетается галька. Второй конец его скользит по наклоненным бревнам и, настигнув отбегающего Кольку, бьет его по ногам. Охнув, Колька валится набок, сгоряча пытается вскочить, но нога прижата. Все бросаются к нему. Вскрикиваю и я.

Вершинин около меня с искаженным лицом потрясает кулаками.

- Остолоп! Стоишь, рот разинул! Из-за тебя человек пострадал.

Чувствуя страшную вину перед другом, подбегаю к нему. Колька лежит бледный, с крупными капельками пота на лбу. Его губы закусены, глаза полузакрыты.

- Коль, тебе больно?! Коль?! - опускаюсь рядом на колени. Он пытается приподняться, но тут же закусывает губы от боли.

- Ну-ка, ты, посторонись! - кто-то грубо отстраняет меня.

Вскоре Кольке оказали первую помощь - наложили шины, перевязали сломанную ногу и перенесли в лодку.

- Садись в лодку, - говорит мне Вершинин, - давай быстро до деревни!

Вместе с Романовым мы налегаем на шесты. В груди щемит от непоправимой ошибки. Хочется наклониться и шепнуть другу: «Коль, друг, прости...» Кусаю губы и всем телом, с глухой яростью налегаю на шест.

Вскоре показались домики деревни. Мы пристаем, и я бегу к зданию сельской медчасти. Запыхавшись, путано объясняю фельдшеру, миловидной женщине:

- У нас товарищ... Нога у него... Его в район... Вызовите санитарный вертолет...

Когда кладем Кольку на носилки, он стонет и открывает помутневшие глаза. Носилки вносим в процедурный кабинет, и медичка выпроваживает нас на крыльцо.

Романов молчит, не смотрит на меня, только курит папироску за папироской, проходит часа полтора. Я обшариваю горизонт глазами и, наконец, замечаю точку, еще еле заметную, но растущую с каждой минутой. Вскоре слышится рокот мотора. Над деревней вертолет снижается и, сделав круг, идет на посадку, обозначенную белыми флажками по периметру на берегу.

Мы выносим носилки на крыльцо. Колька приподнимает голову. Ему, чувствуется, легче. Глядя на меня, он еле заметно улыбается. Когда несем носилки к вертолету, я пытаюсь что-нибудь сказать и не могу, что-то сжимает горло, только тихо роняю:

- Коль...

Перед тем, как носилки заносят в вертолет, Колька сжимает своей горячей ладонкой мое запястье и произносит:

- Ничего, Толик. Живы будем - не помрем.

Носилки исчезают в проеме люка. Мы отходим. Я еще чувствую теплоту Колькиной ладони. Взревел мотор, и вертолет медленно отрывается от земли.

Я долго смотрю на горизонт, пока в голубизне не растворяется точка винтокрылой машины.

«БЕРЕСТА»

(Рассказ)

Будущее здание поднялось от земли всего метра на два. Лешка остановился и замороженно наблюдал, как каменщик, ловко пристукивая мастерком, укладывал кирпич к кирпичу. «Здорово наловчился», - восхищенно отметил он. За спиной резко рывкнул клаксон и завизжали тормоза. Лешка рванул в сторону.

- Ты че рот раззявил?! Стоишь... столбом! - высунулась из кабины девушка-шофер, но, заметив у его ног чемодан, неожиданно улыбнулась.

Поставив машину под башенный кран, она подошла.

- Привет! Ты к нам на Запсиб по направлению или дикарем? - спросила, протянув миниатюрную грязную ладонку, и представилась: - Лиза Карнаухова - бригадир автобазы и комсорг стройки вот этого жилого квартала. Так ты говоришь, по комсомольской? Отлично! Значит, нашего полку прибыло. Ты издалека?

- Да нет. Я местный. Из Абагура-Лесного...

- Это даже и лучше. На выходные можно и домой съездить, - и вдруг, спохватившись, спросила. - Тебя кадровики куда направили, в какую общагу?

- Вот на бумажке написали какое-то третье общежитие, объяснили, как найти, но я, по-моему, заблудился... Тут столько строящихся объектов...

- Ну, это не очень далеко. Я как раз мимо еду и, если не возражаешь, - подвезу.

Лешка с любопытством глянул на девушку. «Красивая и... шофер», - подумал он, невольно проведя параллель между девичьей красотой и несовместимой с ней профессией. Лиза, натолкнувшись на его взгляд и будто прочитав мысли, отвернулась.

Когда машина остановилась у длинного сборно-щитового барака, Лиза как бы между прочим произнесла:

- Народу к нам на стройку едет прорва, не успеваем на учет ставить, но и бегут не меньше. Есть такие, что через два-три дня исчезают. Окунется в грязюку, набьет мозоли на ладонях - и все, патриотический запал улетучился. Мы таких «берестой» зовем: загораются быстро, да горят один миг...

Лешка понял, на что намекнула девушка, и густо покраснел. Хотел что-то возразить, но сдержался, только спросил:

- Это и есть третье общежитие?

Лиза кивнула. Лешка поблагодарил, подхватил чемодан и спрыгнул с подножки. Машина, подняв клубы пыли и громыхая кузовом, запетляла между навороченных куч песка, глины, вагончиков, штабелей стройматериалов и вскоре исчезла за поворотом. Лешка прошел по дощатому тротуару к подъезду барака, поднялся на низенькое, в две ступеньки крылечко.

Вечерело. Рабочий день заканчивался.

Старушка - дежурная по общежитию - повела Лешку по полутемному коридору, освещенному тусклыми лампочками под потолком, забрехала ключами у одной из дверей. Когда вошли, ткнула брякающей связкой:

- Располагайся вон на той, - и показала на кровать в дальнем углу.

Лешка огляделся. Да-а, комната - не разгуляешься. Почти вплотную друг к другу стояли пять кроватей. По их заправке можно было судить о характере хозяев: как попало брошенные одеяла, комом висели на спинках полотенца. Только одна кровать была аккуратно заправлена, на тумбочке - стопка книг, на остальных - бардак: крошки, обрывки бумаги, пустые консервные банки.

Хлопнула дверь. Алексей вздрогнул, обернулся - в комнату, как вихрь в форточку, влетел коренастый паренек с не-

большим свертком под мышкой. На долю секунды споткнулся, оглядел, как ощупал, Лешку, прошагал к одной из коек. Бухнулся на жалобно пискнувшую панцирную сетку и содрал с темно-русой взлохмаченной башки коричневый берет. Еще раз оглядел Лешку, должно, старушка предупредила о новом постояльце, и полуравнодушно, с некоторым оттенком любопытства, спросил:

- Новенький, значит? Выходит, соседом по койке будешь, - и вдруг представился. - Я - Петр Краснухин. Ночью не храпишь? Как зовут-то?

Познакомились. И тут же начали подходить остальные жильцы. Непринужденно здоровались, будто расстались всего несколько часов назад.

- Ты смотри, наша «традиционная» койка снова занята, - с нескрываемым сарказмом сказал один из парней, что-то ища в своей тумбочке.

- Он хочет сказать, - повернулся к Лешке Краснухин, - что ты на этой койке уже третий. Были до тебя двое, но оказались «берестой»...

Леха вновь вспыхнул, он уже знал, кого здесь зовут «берестой», и со злой обидой подумал: «Зациклились на этой бересте, и что за дурацкие намеки?..»

Парни умылись и засобирались в столовую, позвали и Леху, но он отказался, сославшись, что поужинает остатками продуктов, привезенных из дома. Вскоре все вновь собрались в комнате, стали готовиться к «походу» на танцы, которые, как понял Лешка, бывают здесь каждый вечер на импровизированной танцплощадке, сооруженной рядом со строящимся зданием кинотеатра.

В дверь постучали, и в комнату не вошла, а впорхнула Карнаухова. Лешка сразу не узнал ее - она была потрясающа. В легком светло-голубом платье, в туфельках на полупыльках - она показалась Лешке куда красивее, чем в кабине за рулем.

- Привет, ребята! Ну что - на танцы идем?

- Конечно, - хором гаркнули улыбающиеся парни.

- А у нас новенький. Познакомься, Лиза, - кивнул Краснухин на Лешку.

- А мы уже знакомы, - улыбнулась она и кивнула Лешке. - С новосельем. Как устроился? Приходи с ребятами на танцы, там вся наша молодежь собирается. Весело - обалдеть! - и тут же насупила брови. - Позавчера я была у вас, и мы договорились, что наведете порядок. А сейчас что? Вам самим-то приятно находиться в этом, простите за грубость, свинарнике?! Семен, а ты неисправим. Неужели у тебя и дома так было? А ну, быстро за уборку! Я не уйду, пока не наведете порядок!

Ребята смущенно начали сгребать с тумбочек мусор, а Семен будто невзначай уронил с тумбочки черствую корку хлеба и, наклонившись, незаметно задвинул под кровать грязные ботинки.

...Лешка проснулся рано, когда все еще спали. На цыпочках прокрался в умывальную комнату, ополоснул лицо, шею, пару раз дернул зубной щеткой по «клыкам» и «перекусил» остатками колбасы и парой пирожков с капустой. Проснулся Краснухин и, приплясывая на одной ноге (вторая застряла в зауженной штанине брюк), спросил:

- Тебя куда направили?

- Я пока разнорабочий.

- А-а... Ну, тогда тебе на станцию.

Вскоре Лешка был у железнодорожного полотна. Станции, как таковой, не было. По обеим сторонам насыпи возвышались горы кирпича, железобетонных плит, балок и много всякого другого добра, чему Лешка не знал названия. Подошла большая группа рабочих с прорабом. Кивнув головой вместо приветствия, прораб хмуро оглядел Лешку, прочитал направление из отдела кадров, повертел в руках и сунул в карман. Повернулся к столпившимся ребятам, среди которых Лешка заметил несколько мужиков среднего возраста:

- Пока займемся сортировкой кирпича, битый - в одну

сторону, целый - в другую. Подадут вагоны, будем разгружать, а машины подойдут - переключимся на их погрузку.

Ребята выстроились цепочкой, образовав своеобразный конвейер, и принялись за работу. Лешке досталось место у самой горы с кирпичом. Хватая кирпич за кирпичом и передавая соседу по цепочке, он подумал: «Не так уж и тяжело. Делов-то, хватай да передавай».

Сначала он попробовал считать свои взмахи, но вскоре сбился и бросил. Вниз, вверх, поворот направо, кирпич в руках соседа и снова - вниз, вверх, поворот направо, оборот к куче, вниз, вверх и так бесконечно.

Вскоре заняла поясница, а через пятнадцать минут пот уже заливал лицо, щипал глаза. От напряжения задрожали руки и ноги. Огнем горели ладони, верхонки стали влажными, саднило пальцы, которые иной раз, не удержав, роняли кирпич на землю, а то и на ноги. Закружилась голова. Но Лешка подавал и подавал. Он потерял счет времени и почти ничего не соображал. «Ну, все! Щас скопытюсь, и смехоты будет! - билась мысль в воспаленном мозгу. - Проклятые кирпичи! А еще говорят - труд облагораживает человека»...

- Перекур! — донеслось сквозь шум в голове.

Не чувствуя спины, Лешка еле-еле разогнулся, как на протезах, сделал несколько шагов и не лег, а рухнул на землю. Все тело гудело, в глазах мельтешили искрящиеся мушки. Подошел парень, работавший рядом, присел и протянул пачку сигарет:

- Закуривай.

Лешка затряс головой:

- Не курю.

Подошли машины за кирпичом. Парни принялись за погрузку. Шоферы поторапливали:

- Живей, живей, ребята. Каменщики на простое, хай подняли. Грозятся в завком пожаловаться...

Первый рабочий день вымотал Лешку напроць. Под ко-

нец появилась апатия ко всему и полное отупение. Хотелось лечь и не двигаться, но, преодолевая себя, он, как сомнамбула, подавал и подавал кирпичи.

Спотыкаясь, Лешка припелся в общежитие, не раздеваясь, рухнул на кровать и провалился в сон, как в черную яму. Но даже во сне его преследовали кошмары, ему снилась погрузка машин: и он вновь двигался вверх, вниз, поворот вправо, опять - вверх, вниз. Лешка не слышал, как Петька Краснухин стянул с него ботинки и укрыл одеялом.

Вырвали его из сонного забытья толчки в плечо и настойчивый голос Краснухина:

- Вставай, вставай. На работу опоздаешь. Да вставай же, засоня!

Лешка ошалело сел и вначале никак не мог врубиться, где он и что вокруг происходит. С трудом приходя в себя и стряхивая остатки сна, он плаксиво, с жалостью к самому себе подумал: «Е-мое, куда я попал?! Этот долбаный труд меня точно горбатым сделает!..» И вдруг вспомнил слова отца, когда заявил родителям, что едет на комсомольско-молодежную стройку по возведению нового гиганта металлургии - Запсиб.

- А у тебя какая-нибудь специальность есть?

- Это не важно, рабочие руки везде нужны.

- Может, передумаешь? Хочешь, я переговорю с Иван Семенычем? Он поможет с поступлением в институт...

- Не хочу никакого блага!

Без аппетита пожевав бутерброд с колбасой, Лешка плелся к железнодорожному полотну. И началось: одна за другой подходили машины за кирпичом, кровельным железом, за мешками с цементом, а потом подали платформы с металлическим прутком и кирпичом. Толком не отдохнув за ночь, Лешка быстро устал, а в башке зудила подлая мышь: «К черту! Эта дурацкая работа не по мне! На фиг! Батяня прав, пусть подключает Ивана Семеновича...»

С гудящей головой, разбитым телом Лешка вновь еле дотащился до общаги. Ребята были уже дома и куда-то собирались.

- В кино пойдешь? - спросил Петька.

Лешка покачал головой. «Какое, на фиг, кино? Тут отдыхаться бы...» - вяло подумал он и чуть ли не со стоном опустился на свою кровать.

- Ты что, заболел? - участливо наклонился Петр. - У тебя такой вид...

- Нет. Я устал.

- Ну, тогда отдыхай. Спервоначально всегда так. Если надумаешь, приходи в красный уголок, там у нас передвижка.

Повалившись на подушку и закрыв глаза, Лешка вспомнил мать, убеждавшую со слезами на глазах:

- Алеша, сынок, тяжело будет, бросай все и возвращайся домой, начнешь готовиться в институт.

«И в самом деле, что меня здесь держит и кому я в чем обязан?.. Я сам себе хозяин. Пока никого нет?.. Чемодан в руки и ходу?.. Обзовут «берестой»? Да хрен с ними...»

Лешка вскочил, вытянул чемодан из-под кровати и лихо радочно стал укладывать вещи, перекладывая их из тумбочки. В дверь резко постучали. Вздрогнув, Лешка пихнул чемодан обратно под кровать и сел. Вошла Лиза, удивленно оглядела комнату и спросила:

- Что, ребята уже ушли? А ты что, Леш, не пошел в кино?

- Что-то не хочется, да и голова болит, - смутился Лешка.

- А я тебя, честно говоря, потеряла. Вечером на танцах не появляешься. Такой красивый и наших девчат сторонисься. У тебя что, в Абагуре зазноба осталась?

- Да-а не-ет... - еще более смущаясь, пролепетал Лешка.

- Кстати, почему не являешься в комитет и не становишься на учет? Давай завтра же подгребай после работы, буду ждать. И что у тебя с чемоданом? - заметила она угол чемодана, торчащий из-под кровати с приоткрытой крышечкой. Она

присела на корточки, выдвинула чемодан и, увидев выглядывающий рукав рубашки, начала аккуратно укладывать скомканные вещи.

Лешка попытался вмешаться:

- Я сам, - но она отвела его руку и, продолжая перекладывать вещи, задумчиво рассказывала:

- Стать водителем я, как себя помню, мечтала еще лет с пяти, постоянно возилась с пацанами и с их машинками, куклы мне были до лампочки. На стройку приехала с одной целью - стать водителем. Но с ходу не получилось - машин и для мужиков не хватало. Пришлось пойти на рытье канав. Ох, и тяжело же было! От черенка лопаты на ладонях в первый же день кровавые волдыри вздулись. Ну, думаю, все! Не могу больше! Притащилась я вечером в палатку и сразу за чемодан. Как сейчас помню, - сижу вот так же над чемоданом и реву. Реву и злюсь на себя. А потом решила - потерплю еще чуть-чуть, может, привыкну. И втянулась. Каждый день ходила к руководству автобазы, комитет комсомола подключила, и вот мечта сбылась - шоферу.

Между прочим, Леш, ты какую профессию хотел бы получить здесь?

- Всегда мечтал здания строить, а потом архитектором стать...

Как ни отнекивался, как ни упирался Лешка, Лиза настояла, чтобы он переоделся, и вскоре они протиснулись в переполненный красный уголок, где шел фильм «Летят журавли».

Прошла неделя. Лешка работал все там же - на станции разнорабочим, на разгрузке вагонов и погрузке машин стройматериалами. Но уже начал втягиваться, накачивал мускулы и к концу смены не так выматывался, как в первые дни. Вчера даже на танцах побывал - опять Лизка чуть ли не за руку утащила из общаги.

Однажды она рано утром забежала в комнату к парням, как всегда, веселая и торопливая.

- А я за тобой, Леш. Поехали. Тебя переводят учеником каменщика.

Лешка просиял. Дожевывая бутерброд на ходу, он влез в кабину, и они покатали к строящемуся жилому массиву в противоположной стороне от «станции».

Здание, у которого Лешка останавливался в день приезда, изменилось до неузнаваемости. За эти несколько дней оно выросло значительно и обросло строительными лесами.

Они поднялись по этим лесам, и Лиза подвела Лешку к тому самому каменщику, работой которого он любовался.

- Петр Никодимыч, вот ученик, о котором мы говорили с вами в завкоме.

Каменщик оглядел Лешку с ног до головы, улыбнулся.

- Ну, что ж, по глазам вижу - учиться жаждешь, а это главное. Вон брезентовый фартук и верхонки, надевай и становись рядом. Иногда матерюсь, так что заранее прошу не обижаться.

Лиза подмигнула Лешке, наклонилась к его уху, прошептала:

- Это здорово, что ты не оказался «берестой», - и, развернувшись, стала спускаться по сходням с лесов.





ОКНО В ПРИРОДУ

КОСОГОР В ОГНЕ

(Зарисовка)

Конец мая выдался по-летнему солнечным и теплым. Родители с десятилетней дочкой решили провести выходные дни за городом. Выехали на своих стареньких «жигулях», но немного припозднились из-за долгих сборов и к намеченному месту подъехали в темноте. Долго петляли по берегу реки по еле заметной старой дороге, уже порядком заросшей травой и молодыми побегами тальниковых кустов.

Палатку ставили почти на ощупь, подсвечивая фонариком. Наскоро перекусив, устроились спать. Убаюкивающе журчала, будто что-то нашептывала, чуть ниже речка. Тишина. Покой. Устав с дороги, родители моментально заснули, повозившись в спальнике, утомилась и дочка.

И вот из-за горизонта брызнули первые лучи. Легкий туманчик, как молочная пена, клубился над водой голубым дымком, цепляясь за кусты и траву, расплзался по берегу, поднимаясь все выше и выше по косогору.

Первой на четвереньках вылезла из палатки девочка. При села на корточках у входа, с любопытством стала рассматривать окружающие кусты, склонившиеся над водой, волны ползущего тумана и пичугу, раскачивающуюся на гибкой ветке напротив палатки, прилетевшую, видимо, поздороваться с гостями. Пичуга, покачавшись, вспорхнула и полетела к лесу, что стеной возвышался на гребне косогора. Девочка повернула голову, провожая ее глазами, и вдруг, вскрикнув, отшатнулась: весь косогор пылал ярким оранжевым пламенем, голубой дым стлался над языками огня, которые уже подбирались к самой палатке.

- Мама! Папа! — закричала она, вскакивая. - Пожар! Трава горит, и огонь вот-вот к нашей палатке подберется!...

Через секунду из палатки выскочили родители, в ужасе заозирались вокруг и... расхохотались облегченно:

- Дочка, это жарки цветут... Их еще огоньками зовут. Туманчик стелется, а тебе показалось, что это дым и огонь сквозь него колыхается. Не бойся, девочка, это прекрасные цветы...



БЕРЕЗКА

(Рассказ)

Послевоенное лихолетье. Наш поселок Абагур, большинство улиц которого названо именами молодогвардейцев-краснодонцев, в связи с массовым наплывом переселенцев стремительно разрастался. Люди семьями и в одиночку, спасаясь от разрухи и голода, из разоренных войной городов и сел европейской России хлынули в Сибирь, где, как им казалось, была сытная жизнь и благодатная тишина без жуткого грохота взрывов и свиста пуль. Их расселяли, как могли, спешно строили временки, которые затем превращались в постоянное многолетнее жилье.

Безудержный и какой-то дикий строительный бум конца 40-х захлестнул и весь поселок. Лачуги-временки втискивались на улицах между соседями, прижимались к ним, урезая по официальному соизволению поселковых властей у местных жителей обширные огороды и приусадебные участки. Но основное строительство развернулось за околицей, где на сотни метров простиралось болото, заросшее редким берез-

инком и корявым тальником, где в кочкарниках гнездилась масса бекасов и чирков, водилась прорва прочей захлебывающейся трелями, свистящая и орущая на все лады пернатая мелюзга и где мы - пацанва - любили играть в войну и разбойников.

На болото приползли экскаватор и пара бульдозеров. Перекрыв ревом моторов всполошенный гвалт пернатой братии, они принялись за работу. Бульдозеры срезали кочкарник, искромсали, выворотили с корнями и перекорежили березы и тальник, сдвинули вместе с землей и торфом этот бурелом в огромные терриконы на край болота. Экскаватор, продвигаясь черепашьям шагом вдоль терриконов, вырыл огромный дренажный ров, соединив его с ближайшим, заросшим лилиями, небольшим, но весьма глубоким озером, названным в соответствии с формой «Кругленьким».

Жидкое черно-коричневое месиво на месте болота, как сиекшаяся кровь, медленно подсыхало. Начало лета, разгар гнездовья пернатого люда... Плача и стеная еще очень и очень долго, в течение нескольких дней, металась над бывшим болотом стая его бывших обитателей. Но, заглушая их плач, уже стучали топоры.

Нам, десятилетним пацанам, было интересно после школы играть в прятки-чекалки на навороченных терриконах. Безжалостно пачкая свою нехитрую одежонку о затвердевшие комья земли и цепляясь о торчащие корневища, добавляли мы к старым заплатам новые дыры на ветхих телогрейках и штанах, за что по вечерам получали дополнительную порку и нагоняй от своих задерганных матерей.

Спрятавшись в очередной раз за выворотнем на одном из склонов насыпи, я вдруг увидел перед самым лицом ее - тростиночку-березку, не более трех лет отроду. Должно быть, ковш экскаватора вырвал малышку с корнем и, сломав пополам, выбросил вместе с комьями земли и торфа на склон террикона.

Девчущка-березка погибала, на сломе ее гибкого стана медленно накапливались прозрачные капли-слезы и так же медленно падали на засыхающие комья. Увидел, и не знаю почему что-то защемило в груди. Забыв о пацанах и обо всем на свете, я долго смотрел на набегающие и капающие слезы березки и вдруг стал лихорадочно шарить по карманам. Затем оторвал от рваной подкладки телогрейки полоску материи. Выправив стволик тростинки-березки, я обмотнул место слома тряпочкой, стянул узелком и убежал чекалиться...

На бывшем болоте стремительно рос сборно-щитовой городок, сразу же названный односельчанами «финским». Почему «финский», навряд ли кто мог объяснить, но скорее всего из-за легко собирающихся и разбирающихся щитовых домиков, готовые детали для которых в большом количестве везли откуда-то издалека, возможно, и из Финляндии. Собранные дома моментально заселялись переселенцами и молодоженами. Сами дома состояли из четырех крохотных квартир (кухоньки и махонькой комнаты) с дощатыми перегородками между соседями. Если кто-то чихал, все соседи желали здоровья. Летом в этой «Финляндии» людей мордовали комары, зимой домики корежило, перекашивались полы, двери не закрывались, и было жутко холодно. Круглые сутки топившиеся в них печи не спасали.

А в дренажных канавах завелись карасишки, видимо, заплыли из заросшего озера. Восторгу пацанвы не было границ - все стали заядлыми рыбаками. Карасиная мелюзга шла на прокорм кошкам, покрупнее - на сковородку со сметаной...

Прошли годы. Я повзрослел, уехал из поселка в соседний город Новокузнецк, а затем - на север служить и работать. Вернулся на родину уже на склоне лет.

Не так давно я посетил милые сердцу места детства. Поселок Абагур-Лесной, как и я, постарел. Почти исчез на его окраине «финский городок». Сборно-щитовые домишки струх-

ли от старости. На их месте кое-где выросли дома частников, но в большинстве своем появились пятна пустырей. А дренажные канавы остались. Они обмелели и сузились, превратились в скопище отбросов, в клоаку человеческой неряшливости. Берега канав, когда-то огромные насыпи - терриконы сгладились, расплозились и вновь заросли густым тальником, диким малинником, кустами шиповника, непролазным бурьяном и жгучей крапивой. Где теперь те карасишки?..

Проходя вдоль таких зарослей, я вдруг споткнулся взглядом о крону развесистой березы. Она значительно возвышалась над окрестностью, и ее густая листва невольно притягивала взгляд. Я с огромным трудом продрался сквозь сплетенные колючих ветвей шиповника к стволу березы, прижался щекой к бархатистой бересте и вдруг почувствовал под ладонью уродливый нарост-рубец. Это был шрам от какой-то смертельной травмы в прошлом на теле ствола...

Боже мой! Это же та самая тростиночка, девчущка-березонька! Боже мой! Милая моя, родная! Ты спаслась, выжила, устояла под ударами безжалостной судьбы и человеческой жестокости! Девчущка моя, красавица, ты жива...



ДЕДУЛЯ

(Рассказ)

Насколько себя помню, я с самого раннего детства был страстным слушателем рассказов деда о природе, охоте и его трофеях. Когда чуть подрос, я стал его постоянным спутником на охоте. Но это стало возможным, когда научился более стойко переносить походные тяготы по болотам и таежным тропам. А до этого я, полураскрыв рот, слушал дедовы байки и постоянно надоедал ему просьбами взять с собой в лес или на озеро.

Бывало, с вечера, если замечал, как дед начинал готовить свою походную одежду, патронташ и вещмешок, я кидался к нему:

- Дедуля, возьми на охоту! Ну, возьми-и, - начинал я хныкать.

Дед ласково улыбался и неизменно отсылал к матери:

- Я что? Я не против. Вон у матери спросись. Отпустит - пойдем.

И так почти весь вечер: от деда - к матери, от матери - к деду.

Слезы, рев и мольбы. Первой не выдерживала мать, сжалобившись, сокрушенно вздыхала и соглашалась:

- Хорошо, хорошо! Не реви! Да возьми ты его, дед! Все сердце он мне изорвал...

Я кидался собирать свои вещички к предстоящей охоте. Хватал и валил в кучу рядом с дедовым шмутьем свою шубейку, шапку, стоптанные сапожки, выструганное из дощечки деревянное ружье, свистульки-манки, которые смастерил когда-то и подарил дед, а также еще с десятков «ценных» для меня предметов, как я полагал, крайне необходимых на охоте.

Но, как обычно, я просыпал. И что только я не придумывал, чтобы дед не ушел утром без меня: и телогрейку его клал

себе под голову вместо подушки; и сапоги его прятал; и привязывал крепкой ниткой свою руку к дедовой ноге - ничто не помогало. Проснусь, а деда опять нет. И снова на час-полтора рев, горькие слезы и на два дня - не меньше - обида на деда. Я его старался в упор не замечать, не здоровался и избегал, когда он находился в доме. Мать с дедом оправдывались:

- Мы тебя будили, будили, да куда там, спишь, как убитый. Вот и пришлось деду идти одному...

Проходило время, и обида утихала.

Но однажды случилось невероятное - дед сам разбудил меня. Был конец лета. Мы с дедом спали на сеновале, и, когда он затряс меня за плечо, я ошалело вскочил, точно подброшенный внутренней пружиной. И, еще ничего не соображая, испуганно уставился в предрассветном полусумраке на склонившегося деда.

- Ну, проснулся, внучек? Вот и хорошо. Давай быстренько оболокайся, я вон тебе одежду припас. И мы с тобой двинем на охоту. Ты ведь хотел сходить?..

Повторять дважды не пришлось. Буквально через пару минут мы с дедом спустились по скрипучей лестнице с сеновала и зашагали к околице.

На востоке расширялась светлая полоса горизонта, но было еще темно, и деревня сладко спала. В курятниках то там, то здесь начала переключку между собой петушиная братия. Нас с дедом провожали до околицы редкие и ленивые взбрехи собак во дворах. За поскотиной встретил зыбкий туман, стелющийся над самой землей. Клубясь, он медленно поднимался вверх и вскоре поглотил окружающие кусты и низкорослый осинник, в который мы с дедом вступили, и двинулись по тропке к ближайшему озеру. Туманная сырость и утренняя прохлада легким ознобом пробежали по телу. К ознобу прибавились крупные капли росы, падающие за воротник при каждом прикосновении к свисающим над тропкой ветвям.

Пробуждались пернатые обитатели окружающего леса. Вначале робко и как бы спросонья, где-то рядом с тропинкой, несколько раз пискнула желтогрудая овсяночка, ей ответила своим треньканьем черноголовочка, им в поддержку защелкала, залилась соловьем иволга. А вдалеке истерично, будто испугавшись чего-то, закричала сойка и тут же, почти над головой, напугав меня до смерти, застрекотала сорока-белобока, застрекотала противно, оповещающая всю округу о нашем вторжении в их владения. Перелетая с дерева на дерево, она, стрекоча, провожала нас почти до самого озера.

Лес кончился. Тропка вывела на опушку, в редколесье, переходящее в кустарниковые заросли, густо поросшие по кочкарнику, и постепенно спускающееся в болотистую низину. Дед все чаще оборачивался ко мне, подбадривающе подмигивал, улыбался и тихо спрашивал:

- Ну, как, внучек, не устал еще? Потерпи, скоро будем на месте.

А я до того был возбужден предстоящей охотой и захвачен просыпающейся природой, что усталости совершенно не чувствовал, хотя мы и прошагали не меньше пяти километров.

Наконец, начинается камыш, сквозь который поблескивает гладь озера. Мы углубляемся по шаткому настилу на несколько метров в глубь камыша и заползаем в шалаш, сооруженный дедом задолго до нынешней охоты. Дед кивает мне на охапку сухого сена, опускается рядом и, скинув рюкзачок, аккуратно опускает ружье на колени. Он заранее сделал над водой настил, на котором и сплел из камыша этот нехитрый скрадок. Перед скрадком открывалась широкая водная прогалина, по кромке которой вдоль камыша росли кувшинки и рогозник. Обзор из скрадка, через его узкое окошечко, отменный.

Туман рассеивался, но над гладью воды все еще стелился



легкий парок. Совсем рассвело, однако солнце из-за горизонта еще не показалось, но его лучи уже окрасили позолотой плывущие над горизонтом перистые облачка и вот-вот брызнут из-за дальних холмов. Тихо, ни одного порыва ветерка, недвижны метелки камыша. В разноголосье птичьего хора время от времени вплетается криканье уток в камышах. При их криканье я вздрагиваю и с замирающим сердцем начинаю вертеть головой в надежде увидеть нарушительниц моего сердцебиения. Нетерпеливо поглядываю на деда, но он невозмутим, сидит, полуприкрыв глаза, будто дремлет. Меня так и подмывает толкнуть его в бок, разбудить и возмущенно зашептать на ухо:

- Ты чего, дед, оглох, что ли? Не слышишь, как крикают утки?

Но дед не дремлет, он косится на меня, подмигивает. Это меня успокаивает, и я продолжаю вертеть головой по сторонам.

Дохнул слабый ветерок, сморщил зеркальную гладь, зашуршал, зашептался между собой камыш. И тут над головой что-то с присвистом зашумело, и я увидел, как низко над камышом, описав широкий полукруг, пронеслись и плюхну-

лись на воду прямо перед скрадком три крупные утки. Я непроизвольно пригнул голову и зажмурился, мелькнула мысль, что утки могут увидеть меня и улетят. Спohватившись, приоткрываю глаза и замечая, как дед поднимает ружье. Грохот больно бьет по ушам, и я вновь на мгновение зажмуриваюсь. Когда открываю глаза, успеваю заметить, как одна из уток, вспенивая воду, забилась на месте, а ее подруги взмывают вверх. Грохочет второй выстрел, но на этот раз он меня не пугает, и еще одна утка, перекувыркнувшись в воздухе, падает на воду.

Звенит в ушах, однако моему восторгу нет предела, и я кидаюсь деду на шею.

- Дедуля, какой ты молодец!

- Ну-ну! - успокаивает он меня. - Давай посидим еще немножко. Может, подлетят еще... А потом перекусим.

Но больше к нашему скрадку утки не подлетают.

Мы и не заметили, как взошло солнце и как заискрились в его лучах росинки на листьях камыша. Заиграли блики на воде, и дыхание ветерка усилилось. На камышинку рядом села мухоловочка, закачалась вместе с ней, как на качелях. Наклонив головку, пичужка с любопытством уставилась на нас своими бусинками глаз и, видимо, разобравшись, что к чему, упорхнула.

Дед развязал рюкзачок, достал и расстелил на сене тряпицу, разложил на ней хлеб, свежие огурцы, зеленый лук и кусок сала, нарезал его ломтиками. И я такой еды ни до, ни после того утра, запомнившегося мне на всю жизнь, никогда не ел - было божественно вкусно.

Мы, не спеша, возвращаемся через лесок в деревню. За спиной у меня, как у заправского охотника, висит на ремешке кряквый селезень - так назвал его дед.

- Пусть посмотрят твои друзья, какого красавца мы с тобой добыли, - заговорщицки подмигивает он, приторачивая трофей за моей спиной.

Дед то и дело отклоняется от тропинки, подзывает меня, рассказывает:

- Смотри, внучек, это муравейник - жилище тружеников и санитаров леса. Они очень сильные. Каждый муравьишка поднимает груз больше своего веса в несколько раз. Это, к примеру, если бы ты поднял на свои плечи и понес нашу корову Буренку...

Я обалдело и с огромным изумлением смотрю на суетящихся, бегающих туда-сюда коричневых букашек и никак не могу взять в толк, как одна из них может поднять и понести нашу Буренку.

- И запомни, внучек, - продолжает дед, - если муравьи вот так бегают, работают, значит, сегодня будет хорошая погода, а если выходы и входы в муравейник запечатаны - жди дождя.

Мы идем дальше, но через несколько метров дед вновь останавливается и поворачивается ко мне:

- Кстати, внучек, а ты не заметил, была ли сегодня на рассвете роса на траве или нет? - и, получив мой утвердительный ответ, обрадованно отмечает: - Так вот запомни, внучек, наличие росы ночью и туман, поднявшийся утром вверх, как и снующие муравьи, подтверждают - дождя сегодня днем не будет.

Показались ворота поскотины.



КАРАСИ В СМЕТАНЕ

(Рассказ)

Хотя я и не очень заядлый рыбак, однако иногда люблю посидеть на берегу или в лодке с удочками, особенно люблю рыбную ловлю на карасей. Нравится, как они клюют, волнует поводка подсеченного карася, люблю жареных карасей в сметане. А полюбил я эту рыбалку еще будучи подростком, когда впервые оказался не столько участником, сколько наблюдателем ее.

С рождением братишки родители, чтобы обеспечить пацаненка молоком, купили коровенку, которую первое лето мне приходилось пасти, потому как она, подлая, постоянно сбегала из стада. Пас я ее по полянкам среди кустов, что окружали ближайшие к поселку озера Тогул и Малиновое. Обязанность малолетнего пастуха и нравилась, и не нравилась мне: с одной стороны — целыми днями быть на природе, затаив дыхание, наблюдать за пичугами и всякой живностью — это было здорово и настоящее блаженство; с другой — лишение общения со сверстниками угнетало и доводило до слез. Ребята играли в лапту, гоняли мяч на футбольном поле стадиона, носились на великах или «хором» ходили в клуб смотреть новое кино и вообще наслаждались отдыхом на каникулах, а я, как проклятый, и в дождь, и в жару все с коровой и коровой.

В то лето я значительно пополнил свою сокровенную коллекцию птичьих яиц, сбором которых занимался третий год начиная с первого класса. Во время устройства гнезд и яй-



цекладки, наблюдая за снующими и щебечущими пичугами, и без труда в кустиках, в траве и дуплах находил их гнезда и, очень извиняясь перед волнующимися и порхающими пташками, брал из кладки всего одно яичко и осторожно удалялся. Дома такие яички — всевозможной окраски: голубые, сиреневые, розовые, белые, с коричневым оттенком, в крапинку и однотонные, совсем крохотные и довольно крупные — утинные и вороньи — я прокалывал с торцов иголкой и ртом осторожно выдувал содержимое, чтобы они не протухли со временем. Невесомые пустые скорлупки я бережно хранил в шкатулках и коробках из-под обуви, разложив на ватной подстилке. И о каждом яичке я мог рассказать, где нашел, когда, какая пичуга его отложила.

В мальчишеском возрасте я, конечно, не разбирался в классификации пернатой братии, знал только скворцов, синиц, щеглов, ласточек, гусей, куриц и некоторых других представителей из их сословия, остальным давал свои наивные названия, исходя из окраски оперения и места обитания. К примеру, у меня были свои «черноголовочки», «плицточки», «пухлячки», «красногрудки», «желтобрюшки», «береговушки», «мухоловки», «хохотушки» и даже «витеньки», которые, насвистывая, очень четко выводили, как бы спрашивая у окружающих: «Витю видел?» Когда я слышал в кустах этот мелодичный птичий вопрос, всегда невольно улыбался и неизменно отвечал: «Видел! Видел! Тебе привет передавал!»

Пополняя коллекцию, а период ее пополнения был ограничен очень кратким сроком кладки яиц, я буквально млея от счастья, когда находил редкие экземпляры, каких еще не было в коллекции. Постоянно пересчитывал, боясь, как бы кто не покусился на мое сокровище, радуясь одновременно, что число экспонатов вот-вот достигнет заветной цифры сто.

(К большому сожалению, коллекция птичьих яиц не сохранилась. Подрос братишка, оказался шустрым и не в меру любознательным. И как я ни прятал свои заветные шкатул-

ки и коробки, однажды в мое отсутствие он нашел их и принялся изучать содержимое. И очень удивился, почему маленькие «кокушки» такие легкие и хрупкие - так он называл яйца... Была трагедия. Но я ее пережил. Не лупцевать же пацаненка за любознательность...)

Изредка мое общение с природой и коровой делили двоюродный брат Сашка Сычев и друзья Витька Корнеев с Петькой Шакаловым. Они изъявляли желание попасть своих коров вместе со мной, особенно в погожие солнечные дни. Но такие коллективные выпасы были кратковременными: пацанам очень быстро надоедали комары и оводы и скучная, по их словам, однообразная природа. Буквально на второй-третий день они уговаривали родителей вернуть коров в общественное стадо.

Как-то в очередной раз вдруг захотел попасть корову Петька Шакалов. Утром мы с ним выгнали буренок, как всегда, на восходе солнца. Роса на траве и кустах, будто дождь перед рассветом прошел. Не успели пройти десяток шагов по просеке, ведущей к полянкам у Тогула, - вымокли с головы до ног, как лягушата, только что вынырнувшие из воды.

- Смотри, шиповник расцвел, - показал Петька на колючий куст, усеянный розовыми цветками. - Как знал, прихватив с собой удочку. Говорят, когда цветет шиповник, начинается клев карася, - напарник снял кепку и достал из-за ее подкладки обломыш кончика удилица, на котором была намотана леска с крючками, грузилом и поплавком.

«Предусмотрительный, гад», - с завистью и некоторой неприязнью подумал я о напарнике, которого из-за его задиристого характера откровенно недолюбливал. Петька был самым старшим из всех пацанов нашей улицы и вел себя с нами нагло, постоянно демонстрируя свою силенку.

Оставив коров пастись на одной из полянок с еще не тронутой косарями травой, мы поспешили в конец озера по троп-

ке, петляющей среди высоких и густых кустов черемошника и ольховника, широкой полосой окаймлявших Тогул. С листьев и ветвей градом сыпались на голову и за шиворот холодные капли росы, ее обжигающие ручейки ползли между лопаток и вызывали озноб.

Наконец, выбрались на береговую прогалинку почти в самом конце озера, ширина которого не превышала двух десятков метров. Водная гладь заросла кувшинками, чистой оставались только узкая полоса на середине да небольшие окна среди прибрежной водной растительности.

Петька перочинным ножом срезал длинный черемуховый прут, вполне пригодный для удилица, и привязал к нему свою снасть из подкладки фуражки. А я мысленно ругал себя, что оказался не таким дальновидным и теперь вынужден с завистью наблюдать, как напарник готовится к рыбалке и с усмешкой косится в мою сторону. Затем он достал из котомки полбуханки хлеба, пятерней выгреб из нее мякиш и долго скатывал в колобок, затем намял хлебных шариков и раскидал по чистой воде сразу же за листьями кувшинок, а также по ближайшим «окнам». Такую же горошинку из хлебного мякиша нацепил на крючок и забросил в водную прогалинку напротив.

И мы застыли в напряженных позах, уставившись на поплавок, изготовленный из винной пробки со спичкой посередине.

Над зеркалом озера стелился жиденький туман; нагревшаяся за день вода, остывая за ночь, парила, и создавалось впечатление, будто вместе с ним плыли, покачиваясь, кувшинки, их распластанные листья, стебли резуна, рогоза и другой растительности. Косые лучи поднимающегося над горизонтом солнца пронизывали склонившиеся над прибрежной водой ветви тальника на противоположной стороне, слепили глаза, отражаясь в капельках росы на их листьях. Там, не переставая, щебетала малиновка, выпорхнув из гущины

кустов и устроившись на озаренной солнцем ветке, должно быть, озябла и решила погреться в его лучах.

А на нашей теневой стороне было сыро и прохладно. Только через часа полтора солнце, вскарабкавшись повыше, прогреет наши мокрые спины и одарит теплом. Сзади в кустах, перекрывая птичьи трели, противно, не переставая, стрекотала сорока, никак не успокоится, потревоженная нами при подходе к озеру. Так и хочется шугануть горластую зануду: «Да заткнешься ты, наконец, подлая, или в тебя каменюкой запустить?!»

Теневая прохлада, сцапав нас в свои холодные объятия, вызывает озноб, но тут поплавок вдруг подпрыгивает и, пару раз нырнув, ложится набок, начинает скользить к краю оконца.

- Тяни!.. Тяни!.. – хриплю я и кидаюсь к напарнику, пытаюсь ухватить удилице.

Но Петька опережает, оттолкнув мою руку, подсекает, и черемуховый прут сгибается в дугу. Карась какое-то время сопротивляется, не хочет идти наверх, до звона натянув леску, ходит по кругу. Наконец сдается и, всплыв, ложится на бок, еле шевеля хвостом. Так, слабо плещущимся блинком, Петька и вытягивает его на берег. На глазок карась тянет на полкило, а может, и чуть меньше.

- Срежь кукан, - приказывает напарник.

И я торопливо подчиняюсь. Жидкий тальниковый хлыстик с роготулинкой на утолщенном конце очищаю от клейкой коры и, пропустив тонкий конец через жабры и рот карася, поднимаю кукан на вытянутой руке. Любуюсь золотым отливом чешуи пойманного красавца.

А Петька выволакивает уже второго...

И началось: поплавок не успевал затихнуть на зеркале воды, как новая поклевка, потяжка в сторону, подсечка, и после короткой борьбы золотобокий увалень граммов на двести-триста отправлялся на кукан. Случались и сходы, но в

основном, когда Петька, захваченный азартом, торопился, не дожидаясь потяжки, подсекал сразу при первой поклевке, и карась успевал выплюнуть хлебную наживку. В одну из таких неудач в ответ на мой упрек зло отмахнулся:

- Лучше сбегай, глянь, как там наши коровы, не удрали домой?

Коровы были на месте, с аппетитом уплетали влажную сочную траву, лениво отмахиваясь хвостами от комарья. Пока бегал, Петька вытащил еще трех карасей. Очередной его приказ проверить коров я пропустил мимо ушей – захватил азарт клева. Когда он попросил сходить вторично, я взмолился:

- Ну, сходи сам, я уже бегал. Имей совесть, дай порыбачить и мне.

Видимо, мой голос, в котором были боль и стон человека, умирающего от жажды и просящего хоть глоток воды, подействовал на жестокосердного напарника. Глянув мне в глаза, в которых едва-едва теплилась надежда на спасение, он протянул удилице:

- Не запутай. Убью!

Трясущимися руками, как стеклянный сосуд, я принял удочку, долго цеплял хлебную горошинку и, наконец, забросил, удачно попав в расширившееся оконце между кувшинками. И показалось, прошла вечность, прежде чем дрогнул поплавок и, медленно приподнявшись, лег набок. Я весь напрягся и, едва он пополз в сторону – дернул удилице на себя и сразу почувствовал сопротивляющуюся силу. Пока вываживал добычу – вспотел, как после хорошей пробежки. А карась оказался ничуть не больше Петькиных – один в один. И второй такой же, тютелька в тютельку.

Прибежал запыхавшийся Петька.

- Ну как?

Я показал два растопыренных пальца. И тут же подсек третьего.

Через несколько минут клев резко пошел на убыль, а вско-

ре и совсем прекратился. Поплавок застыл, будто примерз к зеркалу воды.

- Все! Кранты! Карась ушел на глубину и завалился спать, - плюнул Петька, кладя черемуховый прут на воду, - до вечера здесь делать нечего. Перед закатом, может, и заклоет... Дед говорил: карась клюет во время цветения шиповника всего один день...

Я недоверчиво глянул на напарника, но ничего не сказал: утверждению Петькиного деда я, конечно, не поверил...

С трудом приподнимаю кукан и пересчитываю улов. Аж двадцать восемь штук. Обалдеть! И почти все один к одному: шириной с хорошую ладонь мужика. Три из них - мои. Отдаст ли?

Время - к обеду. Солнце почти в зените. Жаркие лучи выпили росу с листья окружающих кустов и подсушили траву. Комары попрятались в сырых ложбинках, под листочками и травинками, зато активизировались оводы. Они наседают на наших коров, и те начинают нервничать, мотают рогатыми головами, хлещут себя по бокам грязными хвостами. Пора гнать их домой на дойку.

На окраине поселка Петька, как бы спохватившись, снимает с кукана пять карасей и великодушно протягивает мне, а я мысленно уже в сотый раз обозвал его «жмотом» и почти отчаялся получить хотя бы тех трех рыбин, которых поймал сам. И вот, поди ж ты, он услышал мои мысли... Видимо, совесть заела подлеца.

Мать, слушая мой захлебывающийся рассказ о сумасшедшем клеве карасей, понимающе кивала головой, улыбалась и восклицала, типа: «Да ты что?!», «Ну, надо же!», «Вот это да!», «Ну, ты молодец!». А в заключение попросила:

- Ты почисть их, а я пожарю в сметане. Слышала, что караси очень вкусны зажаренные именно в сметане.

Через час скворчащая сковорода с карасями, залитыми белоснежной сметаной, стояла на столе. И мать оказалась

права: жареха была обалденной - язык проглотишь и не заметишь!

После обеда я был в полном вооружении: на плече - удочка с добротным удилицем; на леске - аж два крючка; в кармане - хороший колобок хлебного мякиша, даже банку червей с собой прихватил. На всякий случай. Ближе к вечеру, оставив коров на той же полянке, мы устремились на заветное место на берегу Тогула. Петька устроился у тех же кустов, что и утром, я облюбовал окошко среди кувшинок рядом. Но увы... Клева практически не было - всего несколько вялых поклевков. Не помогла и наша прикормка. Поймали мы с напарником по паре карасишек-недомерков, и на этом рыбалка закончилась.

Но интереса к ловле озерного золотистого увальня я не утратил. Первая рыбалка с Петькой на Тогуле заразила меня, лечиться от этой «болезни» я не стал, она была не заразная и даже приятная. Теперь я никогда не отказываю себе в удовольствии посидеть с удочками на каком-нибудь озере, карьере или теплом канале, где отлично прижился золотистый лежебока.



ХАРИУСЫ

(Рассказ)

Солнце в зените. От жары и в тени нет спасения. Душно. Даже пичужки и те попрятались, свели на нет свой песенный пыл. Наклонившись над травой и срывая ярко-красную земляничку обочь тропки и чуть скосив глаза, вижу невдалеке

на нижней ветке густого шиповника одну из певуний. Клювик ее полураскрыт, видимо, у бедняжки от зноя пересохло горлышко, вот и спряталось в тенечке, не поет - стыдно, видимо, выводить рулады хриплым голоском.

Мы с братишкой, изнывая от жары и жажды, плетемся с дальних покосов домой. Идем второй час, а тропки, петляющей по косякам среди кустов и редколесья, кажется, нет конца.

У бригады косарей, в которой мы работаем коногонами, т.е. возим копны, сегодня кончился хлеб. Чтобы не гонять в деревню вконец измученных лошадей, бригадир решает послать нас.

- Пока бригада в самый солнцепек отдыхает, вы и обернетесь. Ноги молодые - семь верст для вас - не крюк, иной раз за день в пять раз больше накручиваете, так что к вечеру ждем с хлебом, - напутствовал нас бригадир дядя Петя.

И мы двинулись.

Наконец, последний крутой спуск в распадок, на дне которого бежит довольно широкий ручей, по берегу его тропка петляет дальше, пока не взбирается на противоположный более пологий склон горы, огибает ее, и вот она - околица нашей деревни, раскинувшаяся у подошвы. Деревня небольшая, всего дворов двадцать-двадцать пять, она тянется вдоль того самого ручья, выбегающего из распадка, на довольно большое расстояние.

Мы с Генкой спускаемся к ручью, и я, выбирая более пологий берег, чтобы напиться, сворачиваю с тропки и поднимаюсь вверх по течению на несколько метров. Среди кустов открывается небольшой омуток. Русло ручья здесь расширяется, и струи воды, замедлив свой бег, образуют чашу. Омуток снизу и сверху по течению ограничен перекатами, где поток с трудом пробирается среди камней и его глубина соответствует меткому выражению - «воробью по колено». Голубая чаша омутка под цвет бездонного неба недвижна, в ней,

как в зеркале, отражаются ветви краснотала и очаровательные головки склонившихся цветов. В воде полощет свои распущенные волосы растущая вдоль берега трава. Я опускаюсь на колени, осторожно раздвигаю зеленые космы и замираю: у самого берега на глубине в полметра, в тени нависшей осоки четко различимы темные силуэты нескольких довольно крупных рыбешек. Вода

до того прозрачна, что до мельчайших подробностей видны на дне камешки и затонувшие соринки и как у рыбешек еле шевелятся розоватые плавники и чуть заметно поднимаются и опускаются жаберные крышки. Отчетливо видны серо-зеленые с темными крапинками спинки рыбешек, их серебристые бока и необычно увеличенные плавники на хребте. «Да это же хариусы», - поражаюсь я. Как-то мне уже приходилось их видеть на цветных рисунках в журнале «Любитель-рыболов». Затаив дыхание, я призывно машу рукой Генке, и, приложив палец к губам, маячу на воду у заросшего берега. Братишка на коленях подползает к воде и долго вглядывается в глубину, потом с округлившимися глазами поворачивается ко мне.

Я радостно потираю руки и командую:

- А ну, брательник, скидывай рубаху, сейчас мы с тобой наловим хайрузов на жареху.

Завязав у своей рубахи узлом рукава, а горловину у воротника перетянув Генкиной рубашкой, я сооружаю из своей сатиновой одежды подобие небольшого мешка. Затем мы спускаемся к перекаату ниже омутка и устанавливаем свою нехитрую снасть в самом устье каменистой отмели. Придавив нижний подол к дну камешками, я показываю братишке, как



держат верхний подол над самым урезом воды и следить, чтобы слабым течением, как ветерком, надувало импровизированный мешок и при попадании в него мечущихся рыбешек резко поднимать «снасть» вверх. Сам поднимаюсь к противоположному перекату и, выломав увесистую дубинку, забредаю в омуток и начинаю изо всех сил лупить ею по поверхности. Воды в омутке почти по пояс. Дрыгая ногами, я взбаламучиваю ил на дне, и вот уже вместо кристально-прозрачной чаши между перекатами плещется грязная лужа.

- Е-е-есть! - орет Генка и выхватывает из воды нашу «снасть» из рубах. Он бегом выбирается на берег и вытряхивает на траву с полдесятка увесистых хариусов граммов по 150-200 каждый. Рыбешки, сверкая серебром, устроили неистовую пляску на темно-зеленой траве, но вскоре уснули. Прикрыв свою первую добычу пучками влажной осоки, мы продолжаем примитивную рыбалку. Братишка занял прежнюю позицию, а я вновь принимаюсь отчаянно колошматить палкой по воде и прыгать обезьяной, поднимая в омутке фонтаны брызг.

Второй улов оказался чуть меньше, а на третий раз в рубахе забился всего один хайрузишка.

Несколько наиболее крупных рыбин устремились на перекаат за моей спиной и попытались преодолеть препятствие, чтобы попасть в следующий омуток, и некоторым из них это удалось. Часть мы с братишкой все-таки успели переловить руками между камней на мелководе.

Добычу сложили в мокрую рубаху, и груз получился довольно увесистым, во всяком случае, килограмма на два с лишним улов тянул.

Усталости как не бывало, не угнетал и полуденный зной. Мы с Генкой ликовали. Чуть ли не приплясывая и возбужденно обсуждая мельчайшие подробности только что состоявшейся рыбалки, двинулись к деревне, до которой уже рукой подать.

Нашему появлению дома мать очень обрадовалась, тискала, прижимала к груди и даже смахнула слезинки с ресниц: как-никак почти неделю мы с братишкой безвылазно жили на дальних покосах, и, конечно, они и мы соскучились. Но особенно обрадовалась нам бабушка. Она немедленно усадила нас за стол и устала всякой всячиной, здесь были и сметана, и варенец, и творожники, и оладьи, и варенье. Но когда мы с Генкой вывалили в таз наш улов, восторгу матери с бабушкой не было предела.

- Бать-тюшки-и! - всплескивала руками бабушка. - Батьюшки! Это сколько же рыбы?! И какая крупная! Мать, а мать, ты посмотри-ка, сколько рыбы наловили наши добычки! Это же надо...

А пока мы бегали в правление колхоза к председателю и с его запиской в пекарню, пока укладывали караваи хлеба в заплечные мешки, бабушка успела пожарить хариусов и большую их часть завернула и холщовую тряпицу нам с собой, аккуратно уложив в мой мешок поверх хлебных караваев.

Вечером за ужином, когда мы с братишкой выложили на дощатый стол под навесом жареных хариусов, мужики долго удивлялись и недоверчиво слушали наш восторженный рассказ. Особенно язвил Ефим Супонин, прозванный в деревне Супонью:

- Да откуда взяться в нашем Каменистом ручье хайрузам? Там сегодня курице негде напиться, а вы говорите - рыба... Не смешите! Огольцы вытряхнули чью-то сеть на Кондоме, а нам брешут, что рубахой наловили! Ни в жисть не поверю! Руба-а-ахой! Тьфу! - передразнил он нас и сплюнул.

- Не скажи, - вступился за нас бригадир дядя Петя. - По весне, в половодье из Кондомы в ручьи и их верховья вполне могла зайти всякая рыба, в том числе и хариусы, могли и остаться там по глубоким омутам. Сейчас омуты обмелели, но рыба в них обитать вполне может: вода чистая, жратвы

хоть отбавляй. Так что нашим коногонам я верю, и врать им, я думаю, нет никакого резону.

А косари ели жареных хариусов и знай нахваливали и вкусную рыбу, и нас с братишкой.

В деревне я слышал потом, что Ефимка Супонь с какой-то сеткой облазил все ручьи в округе, но, как судачили деревенские бабы, так ничего и не поймал...



ЧЕРНОЕ ОЗЕРО

(Рассказ)

К рыбалке пристрастил меня папаня - заядлый удильщик, которых в народе называют чудаками, помешавшимися на пескрях и поплавках. Насчет чудачества ничего не скажу, а то, что батя мог часами любоваться неподвижным поплавком на зеркальной водной поверхности, - это подтверждаю - мог! Хлебом не корми, а дай посидеть на берегу какого-нибудь хоть крохотного, сплошь заросшего кувшинками озера или старой курьи, а то и на брошенном столетней давности карьере, где благодаря утиным выводкам расплодился карасишки и прочая мелочевка.

Бывало, на почве отцовского пристрастия случались дома и кратковременные размолвки. Мамка ругалась:

- Володя, ну сколько можно? Рыбалка, рыбалка, рыбалка... Хотя бы ловил... а то так... кошке на обед... Поливать же надо. Да и картошку окучивать пора.

А через час, закончив поливку грядок, они мирились. Мамка, вздохнув, сдавалась:

- Ладно, иди. Только ненадолго.

Едва я научился насаживать червяка на крючок и набрался силенок держать удилище в руках, отец начал брать меня с собой на реку Томь, вдоль которой широко раскинулся наш поселок Абагур, и ее приток - реку Кондому, на близлежащие озера Малиновое, Тогул, Черное, где мы таскали ельчиков, пескарей, окушков, карасишек и другую мелюзгу. Но особенно любил отец рыбачить на Черном озере, хорошо там брала на хлеб сорожка. У него даже были прикормленные места на этом чудном водоеме.

Да, озеро было действительно красивым. Довольно глубокое, из-за чего вода казалась черной, и одновременно не очень широкое, оно полумесяцем вытянулось почти на полкилометра среди пастбищных луговин, принадлежавших Еланскому совхозу. Пастбища эти и луговинами-то назвать грех: так себе - поляны среди заболоченных низин, сплошь заросших густым корявым тальником, осинником и молодым березняком. Берега озера тоже заросли ольховником и только в ряде мест имели небольшие прогалины подхода к воде. Дальним, открытым и менее заболоченным концом Черное озеро почти вплотную примыкало к обрывистому берегу Кондомы, противоположный, более низкий и узкий, зарос камышом, рогозом и прочей непролазной болотной растительностью. Прибрежная гладь воды у кромки ивняка, где глубина была небольшой, заросла кувшинками и лаково-зелеными листьями белоснежных лилий.

В народе лилию называют «русалочьим цветком». Как утверждает легенда, некогда прекрасная нимфа полюбила Геракла, но тот был к ней равнодушен. От тоски нимфа превратилась в водяную лилию. Каждое утро, едва взойдет солнце, нежный цветок раскрывается, и нимфа начинает пристально вглядываться вдаль - не появится ли на горизонте

ее возлюбленный. В Афинах этот цветок считали символом красоты и красноречия, молодые гречанки украшали им волосы и туники. По преданию, в день свадьбы Елены Прекрасной и царя Менелая венками из лилий был убран вход в их опочивальню.

На рассвете, придя к озеру, можно наблюдать неповторимое зрелище - появление белых кувшинок из воды. Видно, как из глубины что-то начинает подниматься, и вдруг на поверхность всплывает большой бутон. Лучи солнца коснутся глади воды, и бутоны раскрываются белоснежными лепестками. Но чуть набегут тучи - лепестки сразу же закроются, и бутоны уйдут под воду. Если день окажется хмурым, они так и не поднимутся на поверхность.

Есть еще одно название белой лилии в народе: «Одолень-трава! Одолей злых людей, отгони хитрого чародея. Дай силы, помоги одолеть горы высокие, леса темные...» Считалось, что одолень-трава наделена свойствами охранять путешественника от всевозможных бед и напастей. Ее вкладывали в ладанку и носили как амулет.

А для удильщиков Черного озера листья «одолень-травы» были постоянной головной болью: прозевал поклевку - и сорожка утянет поводок с крючком в гущу зарослей лилий, и прощай, вся снасть, доставай, если есть, из рюкзака запасную.

Было еще одно неудобство: к урезу воды из-за заболоченности и притопленных кустов не подступиться. Приходилось рубить валежник и мастерить подходы.

Как сейчас помню, впервые на Черное озеро взял меня батя, едва мне исполнилось шесть лет. Мать тогда крик подняла:

- Ты что, отец, уже совсем? Утопишь пацаненка! И не заметишь, как бултыхнется с берега...

- Не бултыхнется, я же рядом, - спокойно и ласково возражал отец и этим обезоруживал мамку, - и не обижай пар-

ня. Какой он пацаненок? Он уже взрослый парень. Смотри, какой крепыш!

Мать, мельком глянув на мое напряженное в ожидании лицо и глаза, наполненные вместе с предательской влагой - мольбой, отворачивалась. На ее губах начинала подрагивать улыбка.

- И все равно, хоть и взрослый, а может сплеховать. Смотри там за ним... - и, уже провожая к калитке, шутливо бросила: - Утопнете - домой не заявляйтесь...

И вот мы у заветной цели. Спустившись с железнодорожной насыпи, что пролегает вблизи заболоченного и узкого окончания озера, мы по тропке, петляющей среди кустов, перебираемся на более заросшую сторону, некоторое время шагаем между непричесанных кочек, заросших осокой. Под ногами чавкает болотная жижа. И только теперь я догадываюсь, почему отец настоял, чтобы я надел резиновые сапожки. В иных местах вода чуть ли не заливает голенища, и тогда отец подставляет спину, присев на корточки. Я обхватываю его за шею, и он переносит меня через топкое место.

Наконец, останавливаемся у одной из прогалин, ширина которой не превышает пяти метров.

- Вот здесь мы с тобой и порыбачим, сынок. Прошлый раз в этом месте сорожняк здорово клевал, - тихим голосом, чуть ли не зашептал отец и, наклонившись, заговорицки подмигнул, - накануне, уходя домой, я здесь специально настил из веток сделал, ты на него и встанешь, с него и забрасывать удобнее будет. Только с настила не сходи и не топчись - в воду оступишься, а там в водорослях пиявки, могут за голенища сапожек забраться и в ногу вопьются...

Я округлившимися глазами испуганно смотрю на отца.

- Ты чего так испугался, сынок? Пиявки опасны, когда в воду забредешь босыми ногами и если они в обувь заберутся, а так они безобидны...

Я облегченно вздыхаю и помогаю отцу разматывать удочки.

- Хлебные шарики на сорожку надо скатывать маленькие, с овсяное зернышко, - это тебе не язь, - поучал меня батя, разминая между пальцев хлебный мякиш, - тому галушку подавай. Вот смотри, какие надо, и насаживай на самый кончик крючка, - отец, наладив снасть, помог забросить снасть за кромку кувшинковых зарослей и передал мне удилице, - держи и резко не дергай, дай чуть-чуть поклевать. Надеюсь, все азы нашей прошлой рыбалки на Малиновом ты усвоил хорошо? Ну, ни пуха ни пера!

Я положил удилице на воткнутые в дно рогулины и застыл в напряженной позе, уставившись на поплавок - гусиное перо, на треть торчащее из воды. Отец тем временем, закинув свою снасть, устроился в двух метрах от меня.

Тишина. Солнце клонилось к закату. Дневная жара спадала. Стрижи бесшумно и стремительно носились над озерной гладью и иногда из озорства чиркали по воде грудками, отчего по поверхности разбегались легкие круги. На мелководье вдоль зарослей кувшинок туда-сюда сновали по водному стеклу клопы-водомерки и, изредка натываясь своими складными лапками-ходульками на гусиное перо поплавок, слегка покачивали его. Эти колебания поплавок вызывали учащенное биение сердца и дрожь в напряженных коленках. Искоса поглядываю на отцовский поплавок: не клюет ли? Но и там тишина. Только отвернулся - он подсекает, и серебристая рыбешка, трепеща в воздухе, вскоре оказывается в батиной ладони.

- Есть одна! - радостно констатирует отец. - Сейчас мы тебя в котелок с водичкой, а потом ты послужишь живцом для нашей жерлицы. Авось повезет - щучка хапнет...

Отец вырубил удилице в соседних тальниковых кустах, довольно толстое, тяжелое и корявое. Прикрепил к нему жерлицу с насаженной сорожкой на тройнике, аккуратно заки-

нул под нависшие над водой ивовые ветки вблизи моего поплавок и приткнул удилице рядом с настилом. И мы вновь устали на свои поплавки, но сорожка клевать почему-то не спешила. Мой поплавок только дважды подпрыгнул на воде и затих, как приклеенный. Батя, поворочав что-то себе под нос и повздыхав, передвинулся за соседний ивовый куст, на узенькую прогалину рядом.

Солнце своим раскаленным краешком коснулось горизонта. На середине озера появилась полоска легкой ряби, хотя не чувствовалось ни малейшего порыва ветерка.

И тут, к своему неопишуемому изумлению, я вижу, как резко качнулся конец корявого удилица с жерлицей и капроновая нить, разматываясь, быстро побежала в глубину.

- Па-ап-а-а... - просипел я свистящим шепотом, но он не услышал.

Я кинулся к жерлице, ухватился за тяжелое удилице, даже не заметив, как зачерпнул воду голенищами сапожек. Потянул палку на себя. Но не тут-то было. Натянувшаяся капроновая нить сопротивлялась, рыбина на ее конце прямо тянула в глубину. Тогда я, резко развернувшись и положив удилице на плечо, засеменял в сторону от воды, как бурлак на Волге (такую картинку я как-то видел в одной из книжек).

Отбежав от берега на приличное расстояние, оглянулся и увидел, как недалеко от кромки воды бьется, подпрыгивая, выгибаясь и хлеща хвостом, между кочек здоровенная щука. Подоспел отец, ловко подхватил рыбину, откинул ее подальше от кромки воды и прижал меня к груди.

- Ну, сынок, ты молодец! Такую щуку поймал! Килограмма на два потянет. Вот мамка обрадуется!.. Поздравляю тебя с уловом и первой щукой!

Сколько лет прошло, а я до сих пор помню, как с тяжелым удилицем на плече бежал, петляя между кочек, прочь от озера, выволакивая зубастую разбойницу на берег. Вспо-

минаю и вновь ощущаю учащенное биение сердца и поднимающуюся откуда-то изнутри теплоту радости от богатого улова.

* * *

Не так давно я посетил Черное озеро и не узнал его. Испоганили прекрасный водоем. Строили новую железнодорожную ветку и не придумали ничего лучше, как отсыпать ее полотно наискосок через середину озера, по-живому расположили водную гладь огромной насыпью. Не растут и не цветут сегодня на оставшихся обрезках озера желтые кувшинки и белоснежные лилии, у берега расплозились масляные пятна, плавают всякий мусор, пластиковые бутылки из-под пива и других напитков.

Смотрел я на остатки озера - и сердце кровью обливалось: так безжалостно загубили природную красоту, не захотели отклониться на пятнадцать метров в сторону.

Скоро дорубим сук, на котором сидим!



ГРОЗА

(Рассказ)

На склоне дня, когда солнце устало сползло за горизонт, и братишка Толька, которому шел восьмой годок, заканчивали поливку грядок - наша ежедневная обязанность в засушливое время - согласно распоряжению матери. Братишка ковшом наполнял, черпая из бочек, мои ведра и две лейки степлившейся за день водой, а я таскал их и добросовестно «ублажал» истосковавшееся по влаге многочисленное семейство овощей нашего огорода. Грядки были уйма, одного лука насчитывалось около десятка, не говоря уже о моркови, свекле, сеянке, редиске, чесноке и огуречных «плантациях». И не скалтуришь - мать обязательно проверит, насколько мы щедро напоили землю и, если обнаружит нашу недобросовестность, обязательно заставит переделать.

Потом мы наполняли опустевшие бочки, попеременно сменяя друг друга у рычага насоса и, изрядно попотев, тут же присели отдохнуть на скамейку под раскидистой ранеткой.

- Толян, - поворачиваюсь я к братишке, - как ты смотришь, если мы завтра по утранке махнем с тобой на Кондому на рыбалку, пескарей подергаем, окушков?

- Вот было б здорово! - Толька аж привскочил со скамейки. - А не обманешь?

- Я когда-нибудь брехал?

- Ур-р-а-а! - фальцетом закричал пацаненок и вдруг осекся, испуганно уставившись на меня. - А мамка отпустит?

- Я с ней уже говорил. Поворчала сначала, но потом согласилась. Так что пошли налаживать удочки и копать червей.

Удочки у нас самодельные, но надежные. Всем премудростям их изготовления научил нас отец. В свое время, когда жилковых лесок еще не было, он искусно плел лески из кон-

ского волоса, позаимствованного из конских хвостов. Помню, как мы с батей ходили на конный двор за этим волосом. Тогда я еще под стол пешком ходил, а Толяна и в помине не было.

Отец о чем-то долго разговаривал с конюхом, угощал его махоркой из кисета, оторвав полоски от газеты, сложенной гармошкой в крохотную книжицу, они скручивали козьи ножки и чадили ими удушливым сизым дымом, отмахивая клубы от лица ладонками. Потом конюх приносил пучок длинных и жестких волос, батя обрадованно прощался, и мы, довольные, возвращались домой. По дороге отец вслух прикидывал, сколько сможет наплести лесок из пучка волос, и хотя я ничего не понимал в его расчетах, все равно радовался вместе с ним. Вскоре в магазинах появилась жилковая леска разного сечения и всевозможной расцветки — рыбачь на здоровье. Появились в спортивных магазинах и бамбуковые удилица, но нам они были не по карману, и мы обходились подручным материалом, используя прогонистые тонкоствольные березки и черемуховую поросль. Вырубив 4-5-метровые хлысты и ошкурив, мы сушили их, подвесив за утолщенные комлевые концы к карнизу крыши на теневой стороне нашего дома. К тонким концам удилиц привязывали увесистый груз в виде кирпичей, за счет которых удилица, высыхая, становились идеально прямыми и по качеству не уступали магазинным — бамбуковым.

Через час, накопав червей и подготовив удочки на пескарей с крючками-заглотышами и легки-



ми грузилами в виде картечинок, мы с братишкой занялись нашим стареньким велосипедом, собранным из запчастей, которые навывпрашивали у ребят со всей округи и насобирали на металлоотвалах. Пришлось подклеить одну из камер, заменить ниппели и смазать корпуса с подшипниками.

- Завтра покатаем чуть свет. Удилища привяжем к раме. И педали крутить, ты впереди, а чтобы не набить синяков на твоих ягодицах, на раму у руля намотаем твою старую шубейку, из которой ты давно вырос. Ляжем пораньше, чтобы не проспать, - подвожу я черту нашей подготовке к завтрашней рыбалке.

Чуть засинело за окном, а меня будто кто в бок пихнул: пора. Бужу братишку, тот сонно отмахивается, пытается перевернуться на другой бок, но едва я шепнул: «Если сейчас же не встанешь, я один на рыбалку уеду», - Толька молниеносно сел на кровати и, не открывая глаз, зачастил: «Встаю, встаю. Ты подожди, я щас...»

Я помог ему одеться, и мы, чтобы не разбудить мать, на цыпочках тихо выскользнули за дверь.

На востоке, расплзаясь по чернильному небу, алела заря. Ночная прохлада быстро испарила с наших тел ласковое пододеяльное тепло и прогнала остатки дремы. Мы вывели со двора велосипед, я усадил Толика на импровизированное сиденье: «Держись крепче за руль» — и вскочил в седло.

Июньские ночи коротки, они не успевают выстудить прогретую жарким солнцем природу, особенно воду в речках и озерах: что на вечернем закате, что на утреннем восходе она теплая, как парное молоко, — залезешь искупаться и вылавить не хочется. В предвкушении предстоящей встречи с тихоструйной и теплой Кондомой мы катим по проселочной дороге далеко не идеального состояния: трясет — жуть. Кручу педали и копнусь на братишку, вцепившегося побелевшими пальцами в изгибы велосипедного руля, голова его от тряски мотается вверх-вниз, зубы клацают, и мне его жалко

— достается пацаненку, задница, наверное, вся в синяках, но терпит. Позови завтра на рыбалку, не моргнув глазом, вновь вскарабкается на велосипедную раму впереди меня.

Рассвело окончательно, темная синева неба уступила место светлой голубизне подзолоченной на востоке лучами солнца, брызнувшими из-за горизонта. Остатки ночной темноты уползли в придорожные черемуховые заросли и в ивняк, густо разросшиеся вокруг Кругленького, Тогула и Малинового озера, и по заболоченным низинам, которые являлись своеобразным их продолжением. Во время весенних половодий внешняя вода широко разливалась по низинам среди кустов и кочкарника и стояла до середины лета, зарастая осокой и другой болотной травой. Эти низины, соседствующие с озерами, были излюбленным местом гнездовья утиной братии, бекасов, вальдшнепов и болотных курочек (пока не построили на противоположном берегу Кондомы обогатительную фабрику, выбросы которой в атмосферу до того загадили всю окрестность, что сегодня здесь не стали гнездиться не только утки, но даже и сороки).

Наш велосипед петляет по тропке, набитой пешеходами на обочине дороги, колеса сбивают обильную росу с окружающей травы и веток низкорослых кустов. Она разлетается искрящимися осколками стекла, оседает на землю и на мои штанины, отчего они быстро намокают, липнут к икрам и холодят их.

Миновали Тогул, в котором в период цветения шиповника и интенсивного клева пацанва нашей улицы таскала на хлеб карасишек-пятачков. Вскоре перебрались через заболоченную протоку, соединяющуюся с Малиновым озером, мостками для пешеходов служили жерди, тонущие в болотной жиже при каждом шаге.

От перехода до Кондомы ходу не больше километра, а на велосипеде всего минут пять. Подъезжаем к обрывистому берегу и, спрыгнув с велосипеда, какое-то мгновение замороженно с трехметровой высоты смотрим на речную гладь, по-

дернутую белесой дымкой легкого испарения. Течения почти не видно, но водное зеркало не идеально чисто: то тут, то там раздаются легкие всплески и по воде разбегаются небольшие круги, будто кто-то бросает маленькие камешки или падают с неба крупные и редкие капли дождя.

— Смотри, как жирует и плавится рыба, — срывающимся шепотом хрипло я, чувствуя, как мгновенно пересыхает во рту и начинают потеть ладони.

Только, раскрыв рот и широко распахнув глаза, крутит головенкой, реагируя на каждый всплеск и разбегающиеся круги, начинает дергать меня за рукав рубашки:

— Вов, Вов, давай спускаться побыстрее, а то вся рыба разбежится.

— Не разбежится. Наша от нас не уйдет, — стараюсь быть владнокровным, хотя и сам готов сигануть с обрыва, чтобы тут же забросить рыболовную снасть в самую гущу жирующей стайки чебачков и ельчиков.

Мы какое-то время идем по берегу вниз по течению до полового спуска к косе, она наискосок вклинивается в неспешный речной поток. Между косой и берегом — зеркало заливчика, который не очень глубок — излюбленное место рыбьей мелюзги, где она греется в теплой, как щелок, воде, кормится мошкой и ристет. Случается, заскакивает в заливчик рыбешка и покрупнее: щурята, окушки. Погоняют мелюзгу, порезвятся — и ходу дальше, на простор «речной волны».

Особого интереса не вызывает заливчик и у нас. Мы с Толком спешим в конец косы, который ближе к середине реки и где, как нам кажется, жирует самый крупняк, о чем красноречиво свидетельствуют частые всплески и разбегающиеся круги на воде.

Лихорадочно разматываем лески, наживляем крючки и, поддев на извивающихся червяков, закидываем как можно дальше от берега. И замираем в напряженных позах с удилами в вытянутых руках. И сердце колотится через раз: вот

сейчас... сейчас... сейчас поплавок дернется и исчезнет под водой, а пальцы, сжимающие черемуховый хлыст, почувствуют удар, и сразу же согнется в дугу тонкий конец удилица. Но бегут секунды, позади – минута. Поплавок не дергается, не уходит под воду и вообще не шевелится. Кошусь на Толькин поплавок – та же картина. Перевожу дыхание. Даже легкие всплески и круги сдвинулись куда-то в сторону от наших поплавок, или мне так показалось. Вытаскиваю снасть из воды – червяк на крючке целехонек. Забрасываю вновь и с некоторым раздражением втыкаю заостренный комель удилица в наносный грунт косы таким образом, чтобы удилице нависло над самой водой.

- Что-то не клюет, - разочарованно и как-то тоскливо вздыхая, шепчет братишка. Я успокаиваю:

- Не хочет, говоришь, клевать? Придется приманку сварганить. Где у нас краюха хлеба? Сейчас мы мякиш намесим с глиной, песком и накидаем галушек поближе к удочкам.

Через десять минут приманка готова, а вскоре и первая поклевка. Подсекаю, блеснув серебром в лучах взошедшего солнца, затрепетал на крючке ельчик чуть больше мизинца. Следом выдергивает из воды пескаришку и Толян. Так, с переменным успехом мы дергаем пескарей, окушков, ельчиков, чебачков, а иногда и ершишек, и... ни одного крупняка. Вот тебе и хоровод всплесков...

Солнце поднимается все выше и выше. Начинает припекать. На западе закуржавились легкие белесые облачка, и уже бурчит в животе от голода.

- Братишка, есть хочешь? - окликаю я Толика.

- Хочу, - живо поворачивается ко мне пацаненок.

- Тогда делаем перерыв. Наживляй червяка покрупней, чтоб мелюзга не смогла стянуть, втыкай удилице посильнее и подгребай ко мне.

Я достаю из рюкзачка полбулки хлеба, из которой мы уже выцарапали мякиш, пару вареных яиц, пяток свежих

пупырчатых огурцов, пучок зеленого лука и спичечный коробок с солью. Жуем и то и дело стреляем глазами на поплавки, несколько раз вскакиваем, хватаемся за удилица, подсекаем, но увы... вновь подростковая шелупень. Перекусив и спасаясь от жары, лезем в воду и, приседавая, окунаемся с головой. И вдруг меня осеняет идея:

- Слушай, братан, а давай попробуем рыбачить стоя в воде. Удочки воткнем в дно за спиной. Леску пропускаем через ладонь, и не надо поплавок, даже малейшая поклевка четко ощущается пальцами. Стукнул пескаришка, ты дергай за леску, и вот он, родимый, - стой, иди сюда!

- И что каждый раз брести на берег, чтобы пойманную рыбу кидать в бидончик?

- Зачем? Сделаем снизки, у меня и суровые нитки есть. К одному концу привяжем тонкую палочку чуть побольше спички, второй конец завяжем большой петлей, чтобы в нее голова пролезла. Надел на шею, а конец со спичкой пусть в воде мотается. Поймал пескаря или какую другую рыбу, снял с крючка, просунул палочку ей через жабры в рот и опускай улов в воду. Как на привязи будет гулять.

- А-а! Ну, это как кукан получается, - обрадовано кивает Толька.

- Точно. А ты откуда знаешь про кукан? – любопытствую я.

- Так папка рассказывал.

- Молодец. Запомнил.

И вот мы стоим в воде, обмотнув леской указательный палец правой руки, Толька – чуть выше по течению, я – в десятке метров ниже, ему вода доходит до пупа, мне – чуть выше колен. Теплые струи приятно обволакивают ноги, и от этого не так жарко, хотя солнце печет нещадно и просто обжигает коричневое от загара тело. Я периодически опускаюсь на корточки и балдею от блаженства, чувствуя, как остывая, тело наливается приятной истомой. Заметив мои при-

седания, окунается в воду по шейку и Толик. Не сдерживая эмоций, он начинает бурно выражать свой восторг:

- Ух, здорово! Вовк, хорошо-то как!

- Не кричи, всю рыбу распугаешь.

Но пескари не обращают внимания на наше бултыхание и восторг. Наоборот, их привлекает легкая муть, поднимаемая нашими босыми ногами со дна. Они внаглую пощипывают пальцы, тычутся в пятки, если чуть приподнимаешь ногу, - лезут под подошву. Склонившись над самой водой, можно сквозь мутноватый слой увидеть, как суетится у ног мелюзга, посверкивая серебром, играют ельчики и чебачки, толстенькими веретенцами снуют пескарики. И вдруг мелочь брызгами разлетается во все стороны: к белым ступням подскакивает окушок с ладошку, крутанувшись, ткнулся в пальцы носом: тьфу — несъедобно! И умчался прочь. Через несколько секунд мелочевка вновь суетится у ног, щекочет их и, когда сверху к ним падает обрывок червяка или комочек земли из банки с наживкой, висящей на веревочке у меня на шее, стайка мальков устраивает кучу-малу, раздербанив подачку в мгновение ока.

- Оп-п-па! — то и дело восклицает Толян, выуживая очередного пескаря. — Еще один, уже десятый. А какой пуза-а-ты-ый, - смеется он, - наверно, беременный? Вовк, а почему пескарей пескарями зовут? За что им такую кличку дали?

- Наверное, потому, что издают своеобразный писк, когда, поймав, чуть сжимаешь их. А может, потому, что любят в песчаном дне ковыряться и предпочитают песчаные отмели. И прекращай, братишка, считать пойманную рыбу. Сглазишь. Перестанет ловиться: рыба не любит, когда ее пересчитывают. И не кричи так громко: крупную рыбу отпугиваешь.

Толик, что-то пробурчав, умолкает. А жор пескарей не утихает. Я не успеваю выуживать пятнистых толстопузиков, чем-то напоминающих усатиков, которых мы в детстве кололи вилками на Томи, осторожно переворачивая на отмелях камни покрупнее.

Снизка тяжелеет, на ней уже не менее трех десятков рыбешек, которые дергают суровую нитку во все стороны и уже порядком натерли мне шею.

- Вовк, глянь, - отвлекает меня братишка от очередной поклевки.

Я поворачиваю голову. Толян с трудом поднимает на вытянутой руке трепещущуюся снизку, ее конец вспенивает воду, ходит ходуном.

- С килограмм будет?

- Да поболе. На килограмма полтора, а то и два потянет, - подыгрываю я братишке с завистливо-возбужденными нотками в голосе.

- Правда? А у тебя сколько? Покажь.

- Да почти столько же, а может, чуть меньше, - и я приподнимаю свою снизку на две трети из воды, чтобы поддержать у Толика чувство гордости за свой улов и не умалять его победы в нашем негласном соревновании.

И тут, бросив взгляд по сторонам, я вдруг физически ощущаю какую-то перемену в окружающей атмосфере и природе. В загустевшем воздухе повеяло скрытой тревогой, будто все напряглось в ожидании надвигающейся опасности. Сочная зелень ольховника и черемошника на крутояре берега потемнела, настороженно зашелестели их кроны от неожиданно налетевших порывов горячего ветра. По водной глади от знойного дыхания побежала быстрая рябь. Только что носившиеся над водой стрижи вдруг исчезли. Поутихла разноголосица птичьего гомона в прибрежных кустиках, одна сорочья трескотня оповещала округу о какой-то надвигающейся опасности. Я глянул на небо и... все понял, почему насторожилась, замерла окружающая природа: с северо-западного гнилого угла, клубясь и медленно расползаясь по небосклону, ползли облака, белые и пушистые по краям и наливающиеся серой темнотой в центре. А с той стороны Кондомы прямо на нас, чуть не задевая вершины приземистых гор, напознала черная, местами с синим отливом огромная туча.

Ее многослойные края, еще не испачканные чернотой и больше похожие на вату, тяжело ворочались, будто в барабане хлопкоперерабатывающей машины. Черноту тучи то и дело озаряли вспышки молний зигзагообразными стрелами, бьющие в землю, но гром почти не слышен – далековато. Однако его прерывистый гул все нарастает и приближается.

- Толян, - окликаю я братишку, - ты глянь, что на нас надвигается. Надо сматываться, иначе нам будет киц мерентухес натоцак!..

Только вскидывает голову, и его рот невольно раскрывается.

- Е-е-е мо-о-е-е! – он поворачивается ко мне, - я не понял, че ты сказал?

- Да я так. Скаламбурил. Вспомнил одну скороговорку. А вообще-то, братан, пора закругляться и драпать домой, как бы эта штукавина, - киваю я на выползающую из-за горы свинцовую тучу, - нам бед не натворила. В грозу опасно быть у воды, а тем более на воде – может молнией убить. Давай сматываться.

- Вов, ну давай еще чуть-чуть. Только свежего червяка наживил. Смотри, смотри, как клюет. Оп-п-а! Видал, какой чебачище!..

И действительно: рыба как с ума сошла, хватала наживку, едва она вместе с грузилом исчезала под водой. Выудив очередного пескаря и водружая его на низку, я опускаю леску с крючком к ногам, которые беспрерывно атакует любопытная рыба молодь. Поднимаю леску, а на крючке – вновь пескарь и не детсадовского возраста. «Ну надо же, - поражаюсь я, - и здесь под самым носом хапнул, позарился на огрызок червяка, еле прикрывающего жало крючка».

А туча, разбухая и наливаясь зловещей чернотой, неотвратимо наползает. Ее клубящийся край уже навис над лесом на противоположном берегу, до которого не более километра. Уже явственно громыкает гром, будто кто-то на

соседней улице разгружает телегу с валунами, которые, падая и перекатываясь, издают приглушенный грохот.

- Все! Завязывай! – даю я команду Толяну.

- Сейчас, сейчас. Вот последнего поймаю для ровного счета и бегу!

Я бреду к берегу, сматываю удочку, вытряхиваю остатки червей в воду: пусть пожирует на халяву подрастающая молодь, и собираю разбросанные вещи в рюкзачок.

- Я кому сказал?! – начинаю я злиться.

Братишка, поднимая каскад брызг, несется к берегу, начинает сматывать удочку.

- Смотай леску на кончик удилица и отломай. Дома есть запасные, остатки червей – в воду. И пошевеливайся!

Через несколько секунд мы бегом поднимаемся по откосу на крутоярье, и я помогаю Толику взобраться на раму у руля.

- Держись, братишка, и потерпи. Буду гнать что есть мочи. Эх, чуть бы пораньше нам сорваться. Боюсь – накроет нас гроза. Вот-вот хлестанет...

Разрастающаяся туча тяжело ворочается почти над нашими головами. Только впереди на востоке, куда мы мчимся, улепетывая от грозы, еще голубеет полоса чистого неба, которая все сужается и сужается, истончаясь до голубой ниточки. Жгучее солнце, обжигавшее, в считанные минуты исчезло за многослойными облаками, и все вокруг вдруг погрузилось в зыбкий полусумрак, будто на закате дня. Беспрерывные всполохи молний, бьющие в землю и дико пляшущие в скопище клубящихся туч, освещают окрестность мервенно-голубым светом. Грохот и треск грома бьет по перепонкам, и при его каждом ударе я непроизвольно еще ниже склоняюсь над сгорбившимся на раме Толиком и втягиваю голову в плечи, как черепаха при возникшей опасности. Надо же: в отличие от грома молния не вызывает у меня, да, пожалуй, и у большинства людей особого чувства страха, а вот грохот небесный почему-то душу в пятки загоняет, хотя со-

всем недавно проходили в школе, что он всего-навсего звук и вреда человеку причинить не может.

К грязной протоке между Малиновым озером и болотом подлетели за считанные секунды. Спешились. Оступаясь с жердей и проваливаясь в болотную жижу по колено, перебрались на ту сторону и вновь вскочили на велосипед.

Стрелы молний беспрерывно бьют в землю, и создается впечатление — они гонятся за нами, вонзаясь в дорогу за задним колесом велосипеда. Испуганно оглядываюсь: над Кондомой, где мы только что были, стоит сплошная серая с синим отливом стена. «Там уже хлещет», - с тревогой и радостью одновременно отмечаю я про себя и, привстав с седла, яростно давлю на педали, увеличиваю скорость. Толька-бедолага почти лежит грудью на руле, зажмурился и заметно побледнел. Потерпи, братишка, немного осталось, скоро мосток, а там...

Налетел шквал ветра, ударил в спину, едва не сбросил нас вместе с велосипедом с дорожки в кусты, смерчем собрал с дороги пыль и всякий мусор, раскидал его по всей округе. Вздыбил, перекрутил ветви черемуховых и ольховых кустов, сорвав с них охапку листьев, и унесся прочь, уступив место порывам послабее.

Показались первые дома поселка. На бешеной скорости выскакиваем на пологий и невысокий взлобок. И вот она, рукой подать — околица. Сразу за мостками над пересыхающим и заболоченным ручьем начинается улица Петрозаводская, а миновав три дома стариков Глушневых и Назаровых — свороток вправо на нашу, Тюленинскую, где в сотне метрах — родимый дом с палисадником и высоким крыльцом-верандой. Ее широкие во весь простенок окна выходят на улицу, здесь, присев на ступени, любил отдыхать отец, наслаждаясь очередной сигареткой.

«Только бы успеть! Только бы успеть!» - как заклинание, шепчу я, чувствуя изнеможение от усталости и дрожь в ногах от перенапряжения.

Влетаем на Петрозаводскую... В затылок и по спине хлещет несколько холодных увесистых капель...

Сворачиваю на родную улицу. У палисадника топчется мать. Увидев нас, всплескивает руками, поспешно распакивает калитку. Вновь по спине и плечам дупят дождевые капли, теперь уже более густо и торопливо. Ударяясь о дорогу, они поднимают фонтанчики пыли, похожие на игрушечные взрывы снарядов, от которых остаются в той же пыли игрушечные воронки.

Резко затормозив у калитки, спрыгиваем с Толиком на землю и бросаемся к крыльцу. Мать пытается высказать в наш адрес какой-то упрек, но из нависшей свинцовой тучи сверкает молния и раздается такой оглушительный треск и грохот, что она, ойкнув и зажмурившись, приседает на ступеньках.

Влетаем на веранду, под спасительную крышу, а за ее окнами начинается что-то невероятное: треск, раскаты грома, шум падающей с неба воды, удары потока по крыше, по тесовым стенам, по стеклу, всполохи молний — сливаются в адову карусель. За дождевой стеной — ни зги, не видно не только соседских домов, но даже и штакетника нашего палисадника.

- Фу-у, успели! — облегченно вздыхаем мы с Толяном и начинаем беспричинно смеяться с каким-то нервным надрывом, видимо, сказывается только что перенесенный стресс.

- А ливень-то, ливень-то какой! Как из ведра хлещет, - испуганно косится мать на окно и торопливо крестится.

- Да-а, потоп, - поддакиваем мы, - неделю поливать не надо...



ЦЫПЛЯТА

(Рассказ)

Однажды теплым летним днем в конце нашей улицы показалась подвода. В телегу была запряжена худющая лошадь, которой управляла такая же худая и хмурая женщина. На телеге громоздились какие-то картонные коробки. Повозка медленно двигалась от дома к дому, приостанавливалась у калиток, и возница выкрикивала одни и те же слова:

- Цыплята! Инкубаторские цыплята! Недорого!

Притормозила подвода с коробками и у нашей калитки. Мать, подметавшая крыльцо, подошла к вознице, завела разговор:

- Цыпушки-то большенькие?

- Трехдневные. Думаете - заморыши? Ничуть, они здоровенькие. Вот смотрите, какие шустрые, - женщина-возница приоткрыла одну из коробок, приглашая мать заглянуть в нее.

Мать заглянула и тепло заулыбалась.

- А чего продаете-то? Инкубатор-то чего сам не растит? - повернулась она к вознице.

Женщина вновь поскучилась, бросила с горечью:

- Кормов мало, не хватает на всех, вот и продаем. Так берете?

- Вообще-то пять несушек у меня есть, но старые уже, несутся плохо, да и петух давно уже не того... Хотела наседку посадить, чтоб вывела своих цыпушек, а ни одна не квочет...



- Так берете? - повторила возница, прерывая материны разглагольствования.

- Почем?

- По пятаку.

- Дороговато, но... так и быть, полтора десятка, наверно, возьму.

- Несите какую-нибудь коробку.

Мать ушла в дом. Вскоре появилась с коробкой из-под обуви, подала вознице мятую рублевку.

- Сдачи нет, - поспешно и явно лукавя, заявила женщина, - бери уж на весь рубль двадцать штук.

Мать на какое-то мгновение замешкалась, раздумывая: брать или отказаться, потом махнула рукой:

- Ладно, давай.

Прибежав домой с озерка за автобазой, где вся окраинная пацанва купалась в летнюю жару, я сразу же обнаружил коробку на табуретке у теплого печного обогревателя, накрытую материным выцветшим платком. В коробке что-то шебуршало и попискивало.

- Мам, что это? - попытался я приподнять уголок платка.

- Не опрокинь. Это цыпушки инкубаторские. Купила вот. Сейчас яйца сварятся, кормить будем. Цыплатки махонькие и первое время кормить их нужно только желтками. Белок тебе на обед.

Я сглотнул слюну.

- Глянь, кошки в избе нет? Шугани за дверь. Не дай Бог, учует, глазом не успеешь моргнуть, как сцапает цыпушку.

Мурки не было. Раскroшив желтки на столешнице, мать бережно принесла коробку, потихоньку наклонила над столом, и посыпались на клеенку нежно-желтые пушистые шарики. Засуетились, писк подняли.

- Держи с той стороны стола, чтоб какой-нибудь не свалился, а я с этой. Ну, давайте, давайте клюйте, - мать приня-

лась ногтем указательного пальца ритмично постукивать по столешнице у рассыпанных крошек ячного желтка.

И желтые колобочки покатались к пальцу, суетясь, принялись тыкаться клювиками в крошки, а раскушав, уже заклевали целенаправленно. Я тоже застучал пальцем, и часть цыплят заспешила ко мне. Вскоре куриная молодежь насытилась и начала засыпать на ходу, покачиваясь на слабеньких ножках.

Мы осторожненько пересадили цыплят в коробку и водрузили ее на прежнее место – к теплому обогревателю печи.

- Я завтра поеду на базар с огурцами. Цыпушки остаются на тебя, - предупредила мать, - корми раза три-четыре в день и смотри, чтоб кошка в дом не пробралась. Пожрет.

Я не скажу, что в детстве был безответственным пацаном. Наоборот. Но назавтра пришел друг Витек, мы принялись мастерить во дворе самокаты (накануне достали в автобазе шарикоподшипники) и так увлеклись, что о цыплятах я вспомнил только после обеда. Похолодев, кинулся в дом, входная дверь – нараспашку, видимо, бегая туда-сюда то за ножом, то за каким-то инструментом, я забыл ее прикрыть. Чуть не плача, заглянул в коробку – она была пуста. Потрясенный, сел на пол. В избе стояла звенящая тишина. Ползая на коленях и давясь слезами, начал обшаривать все углы. А через минуту ошалел, заглянув под кровать: там лежала Мурка, вся облепленная желтенькими комочками: цыплята, пригревшись у бока и на спине кошки, мирно спали, а она, боясь их потревожить, даже усами не дергала.

Пересчитал я цыпушек трижды, и с души будто камень свалился – все целехоньки. Слава богу, кажется, нагоняя вечером не будет. К приезду матери мое подопечное хозяйство было накормлено и мирно спало в старой корзине на мягкой подстилке в объятьях Мурки...

ЛАСТОЧКИ

(Рассказ)

На нашей улице, бывшей Больничной, переименованной в конце войны в честь героя-молодогвардейца именем Сергея Тюленина, рубленый высокий дом на фундаменте был только у Нестеровых. Друг детства Витек жил в нем с матерью – тетей Гутей и двумя старшими сестрами – Дусей и Валей. Дом этот достался им в наследство от отца, бывшего директора Абагурского ОРСа.

В сравнении с нашей засыпной халупой, вросшей в землю по самые окна и состоявшей из одной комнатенки с крохотными сенями и такой же кладовочкой, дом Нестеровых казался хоромами. Высоченное крыльцо, просторные сени, четыре комнаты с большими и светлыми окнами в каждой горворили сами за себя.

Завидовал ли я другу, что он живет в лучших условиях, чем я? Может, чуть-чуть, да и то только тому, что у них на столе хлеба было побольше, чем на нашем с матерью. Тогда нам не было восьми лет, но мы уже были подкованы идеологически, считай, с молоком матери всосали тогдашний спущенный сверху постулат: «Все – равны, и все – братья!..», и потому не было никакой зависти и вражды на социальной почве.

Мне очень нравилось приходить к ним в дом, было интересно поглазеть на Витькиных сестер – тетю Дусю и тетю Валю. Красивые, статные и какие-то вызывающе задорные, не в пример моей матери – всегда печальной и молчаливой.

Витька рассказывал, что у него был старший брат Николай, который ушел на фронт и пропал без вести и которого по малолетству он помнил смутно, только отдельные моменты, говорил, что брат был очень высоким и сильным. Я не застал ни отца, ни брата Виктора и знал о них только по его

отрывочным рассказам. А вот его сестры были всегда на виду.

Особый интерес вызывала у меня средняя сестра друга — Валентина. Во-первых, поражали ее фанатичная любовь к цирковому искусству и настоящий артистический талант. Откуда взялся этот талант в генах деревенской девчонки, в родословной которой никогда не было детей с артистическими склонностями? С музыкальным слухом — да, а чтоб с актерскими данными?.. Это загадка природы.

Я предполагаю, исходя из отрывочных рассказов друга, Валентине однажды в раннем детстве посчастливилось с кем-то из взрослых побывать на представлении заезжего цирка «шапито», и увиденное на арене ее так потрясло, что с тех пор окружающий мир для нее потерял всякий интерес, ее мечтой стали арена цирка и сцена театра, она грезила ими.

В неполные шестнадцать лет она сбежала из дома с приезжей цирковой труппой. Стащив спрятанное свидетельство о семилетнем образовании, ушла пешком в город и успела к отходу поезда, увозившего труппу цирка в города соседней области.

И началось ее турне. Она объехала с цирком полстраны. Училась ловкости у маститых жонглеров, ее хвалили за умение и природную одаренность акробаты и фокусники, ей аплодировала публика, пораженная ее виртуозными трюками на гимнастических снарядах. Наконец, добралась до Москвы и поступила в цирковое училище, которое окончила с отличием.

Вернувшись на родину, в любимый город Сталинск, к тому времени уже переименованный в Новокузнецк, с восторгом окунулась в богемную жизнь творческого коллектива местного цирка, пока еще не столь заметного, как приезжающие на гастроли звезды подмостков из крупнейших городов Союза.

Я никогда не забуду ее импровизированных выступлений

в дни приезда в родительский дом. В вечернее время, когда стужались сумерки, их высокое и широкое крыльцо, застеленное тети Гутиными половиками, превращалось в цирковую арену. Над крыльцом переливались радугой раскрашенные акварельной краской гирлянды электролампочек. На эти представления собирались практически все жители нашей улицы. Весьма просторный двор Нестеровых всех желающих не вмещал, многие толпились за калиткой и вдоль штакетника. Девтора и мы — подростки, естественно, — у самых ступенек крыльца. В глазах — восторг и жадный интерес.

Меня потрясала пластичность тела сестры друга. Оно будто было гуттаперчевым и не имело костей при выполнении гимнастических трюков, приобретало невероятные позы, которые порой даже умелому гимнасту исполнить было не под силу. К примеру, встав на сиденья стульев, расставленных чуть шире плеч, она откидывалась назад и, выгибаясь в пояснице, медленно сантиметр за сантиметром опускалась запрокинутой головой все ниже и ниже, пока ее губы не подхватывали лежащий на полу цветок. Потрясающе!

Это же надо так выгнуться, что голова и плечи оказывались ниже ступней почти на сорок сантиметров!..

А чего стоила ее поза «девочка-колесо», когда на собственных плечах покоились собственные бедра. В этой позе она начинала перекатываться по диагонали крылечка туда-сюда, чем вызывала дикий восторг ребятни и бурные аплодисменты собравшихся жителей.

А потом начиналось жонглирование горящими факелами. Гасли гирлянды лампочек, и в темноте вспыхивала карусель факельного огня. Огненные булавы, шипя и искрясь, летали над крыльцом, и мы замирали в страхе, боясь и переживая за изящную тетю Валю, что она ошибется, схватит вращающийся факел за пылающий конец и вспыхнет сама, сгорит в один момент. Девчонки, сидевшие рядом, даже закрывали глаза и опускали головы. Но удивительно — юная,

красивая и стройная теть Валя никогда не ошибалась, у нее не падали и не разбивались тарелки, на ее руках не было следов от ожогов...

Кроме артистического таланта Валентина обладала еще и незаурядными организаторскими способностями. Работая в нашем поселковом клубе художественным руководителем, своим энтузиазмом она заразила и нас, уличных пацанов, вовлекла в юношескую хоровую капеллу. Помню, один год мы на областном смотре художественной самодеятельности даже завоевали какой-то престижный приз, хотя свои музыкальные и голосовые способности я всегда оценивал и оцениваю не выше «двойки с минусом»...

Да, я любил приходить в дом Нестеровых, мне нравилось сидеть на ступеньках высокого крыльца и особенно нравилось лазить с Витькой на чердак их дома.

Чердак был обалденный, в сравнении с нашим, как футбольное поле и волейбольная площадка. Я на своем чуть ли не на карачках ползал, а тут до стрехи – четыре метра с гаком будет. Витькин чердак освещался большим слуховым окном, и в нем было достаточно светло. И чего там только не было: зимние оконные рамы; какие-то детали старой мебели; сломанные стулья; узлы с пыльной одеждой; скатанные в рулон выцветшие стеганые одеяла; коробки с кухонной посудой; древний самовар – потускневший и слегка помятый, но главной ценностью, как я считал, были стопки книг и кипы журналов и газет, перевязанные крест-накрест бечевками. Они манили меня, как магнитом, и я страсть как любил в них копаться, но отвести душу постоянно не давал Витек:

- Ну, опять зарылся в макулатуру. Кончай копаться. Там нет ничего интересного, одни сеструхины книжки по медицине, когда она училась на фельдшера, и отцовы - по работе.

- Сеструхины – это тети Дуси, что ли?

- Ну, а чьи же еще?

Еще одной достопримечательностью чердака Нестеровых

были ласточки. Три парочки щебетуний облюбовали его несколько лет назад. Под стрехой свили гнезда и весной, возвращаясь из теплых краев, принимались усердно обновлять их или строить новые. Сказав «свили», я употребил этот термин в образном смысле, на самом деле ласточки свои гнездышки лепили. Будучи пацаненком, я часто наблюдал, как ласточки подлетают к лужицам, на мгновение присаживаются и набирают в клювики комочки земли, глины и воду. Со своей ношей они устремлялись к крутоскатной крыше дома друга и ныряли в ромбическое отверстие над слуховым окном внутрь чердака. И я всегда удивлялся, как они на такой сумасшедшей скорости так ловко проскакивали в небольшое отверстие, не чиркнув крылышками по его краям.



Приклеивая влажные и чуть ли не микроскопические комочки глины к стропилине под стрехой и вплетая в них тоненькие травинки и ворсинки, семейство ласточек очень споро строило свое гнездо-корзиночку и буквально через неделю справляло новоселье. Нутро глинобитного гнездышка быстрокрылые и элегантные птички выстилали нежным пухом, и самочка откладывала три-четыре яичка.

Не помню, от кого из взрослых, а скорее всего от бабушки, я слышал, что ласточки поселяются только у добрых хуторян и никогда не станут гнездиться под крышей людей с черной душой, что они, как и аисты, приносят хозяевам, приютившим их, счастье и удачу. И еще слышал: не дай Бог разорить их гнездо – покинут этот дом и никогда в жизни ни одна ласточка не подлетит к человеческому жилью, где ее обидели. Покинут и унесут с собой счастье и удачу. Насколь-

ко верны людские приметы, я не знаю, но какая-то доля истины в них заложена.

Однажды мы с Витькой, забравшись на чердак, засмотрелись на суетню ласточек, которые, смирившись с нашим присутствием, несколько успокоились, перестали щебетать настороженно и вскоре принялись за свои дела. Одни выскальзывали наружу и через минуту возвращались с какой-то пошей в клювике, другие занимались обустройством внутри гнезд.

- Ты смотри, какая белоснежная грудка и животик вон у той ласточки. Да не туда ты смотришь, - толкнул меня друг плечом, - вон сидит на краешке гнезда, что крайнее слева и ниже всех.

- А-а-а, вижу, вижу. Действительно, у нее еще розовенькая шейка и очень острые кончики раздвоенного хвоста. И глазки шустренькие, все на нас поглядывает.

- Вовк, а давай посмотрим, отложили они яички или еще нет, - предложил вдруг Витек, - ты хвалился, что начал собирать коллекцию птичьих яиц, вот и пополним ее одним ласточкиным яичком.

- Может, не надо? - попробовал я отговорить друга. - Бабушка говорила: нельзя ласточек зорить.

- Так мы и не будем зорить. Мы только посмотрим. Заглянем вон в то самое нижнее гнездо и все, - и Витька засуетился, командуя. - Давай подтащим эти ящики и составим друг на друга. Нет, мало будет. Вначале подтащим вон тот стол. Ножки нет? А мы вместо ножки стопки книг подложим... Вот так! Теперь на него - ящик. Так. Теперь давай вон тот стул... Ни фиги, что качается. Давай тащи стопки книг и журналов, укрепим ими стул. Еще, еще. Ну, кажется, порядок. Подсади...

Ласточки заметались по чердаку, испуганно защебетали. Витек кряхтя залез на стол, на ящики и медленно вскарабкался на раскачивающийся стул. Его ноги тряслись. Сохра-

няя равновесие, он ухватился за стропилину и выпрямился. Почти на уровне лица оказалось одно из нижних ласточкиных гнезд. Витек привстал на цыпочки, и тут случилось то, чего я так боялся: стул затрепал и накренился. Витек взмахнул руками, сбил ласточкино гнездо и кубарем полетел вниз вместе со стопками книг, журналов и злополучным стулом.

Треск, грохот, пыль клубами. Я бросился к другу, помог подняться.

- Я же тебе говорил: не надо, не надо... Сильно зашибся?.. - чуть не со слезами заныл я.

Витек почти не пострадал, если не считать царапины на лбу и приличного синяка на бедре.

Ласточки в панике растворились в бездонно-голубом небе.

Придя в себя, мы принялись за ликвидацию разгрома на чердаке, затем отряхнули одежду от мусора и пыли. К приходу матери и сестер в доме был полный порядок...

Но ласточки с тех пор на чердаке дома Нестеровых не появлялись...



РЯБЧИКИ И... ДЕДОВ ТОПОР

(Рассказ)

Этим летом я приехал к деду с бабушкой на каникулы перед самым сенокосом, и мое появление в такой напряженный период, естественно, особой радости у них не вызвало. Но не отправлять же пацана назад к матери, и дед, заняв-

шись сенокосом, предоставил мне полную свободу. Только вечером, возвращаясь усталый с покоса, сидел на ступеньки крыльца, подзывал меня и учинял допрос:

- Ну, признавайся, чего накуролесил за наше отсутствие?

Я подробно рассказывал, чем занимался в течение дня, куда ходил с деревенскими ребятишками за ягодой или на рыбалку, сколько раз, во сколько и чем кормил кроликов, борова и бычка — согласно записке, оставляемой мне бабушкой по утрам на столе рядом с крынкой молока.

Дед, полуприкрыв свои темно-карие глаза припухшими веками и насупив седые кустистые брови, слушал, чуть склонив кудлатую седую голову набок, будто дремал. Его пепельно-серая окладистая борода и такие же седые усы, полукружьем обрамляющие полные губы, спутаны, в них набилась сенная труха. В этой обычно аккуратно расчесанной и пышной бороде постоянно запутывались пчелы, когда дед с дымарем в руках проверял ульи своей пасеки, насчитывавшей более трех десятков колодок. Дед очень осторожненько выпутывал пчелок, садил на ладонь, и они, какой-то миг посидев на узловатой морщинистой стариковой длани, стремительно улетали по своим пчелиным делам. И, на удивленье, они почему-то никогда деда не жалили, наверное, любили его за обходительность и уважительное отношение к ним и их труду.

Выслушав мой доклад, дед, кряхтя и хватаясь за поясницу, поднимался со ступенек, и мы шли под навес, где он умывался, а я сливал ему на руки и шею воду из ковша.

Однажды, обследуя захламленный чулан, я обнаружил под висящими на гвозде старыми телогрейками одноствольное ружье. Обтерев от пыли и заглянув в ствол, я пощелкал курком и убедился, что оно исправно и вполне пригодно для охоты. Здесь же, в чулане, я вскоре нашел обшарпанный фибровый чемодан, наполненный всяким охотничьим добром. Здесь были: банка черного дымного пороха, куски и пластинки свинца, пыжи россыпью, десятка три

позеленевших латунных гильз, спичечный коробок с капсюлями, сборный шомпол, флакончик с машинным маслом, ветошь, мерки для пороха и дробы, какие-то еще баночки и разные детальки. Но не обнаружил я главного: не было ни одного заряженного патрона, был, правда, один с вмятиной на капсюле. Когда-то, видимо, он дал осечку, и его отложили, чтобы разрядить, да так и забыли. Не было в чемодане и дробы.

Я почистил и смазал ружье и отправился на охоту с... дефектным патроном в кармане. Поднялся по тропке на затяжной косогор и углубился в редкий подлесок, постепенно переходящий в тайгу. Боясь заблудиться, иду по тропке и в сторону ни на шаг.

Иду, любуюсь молодыми пихтушками и стройными березками, чутко вслушиваюсь в разноголосицу птичьего щебетанья и залихватские трели, в шелест листвы и вдруг испуганно на долю секунды закрываю глаза, когда чуть ли не из-под ног «взрывается» выводок рябчиков.

- Фыр-р-р! Фыр-р-р! Фыр-р-р! — разлетаются в разные стороны молодые петушки и курочки и тут же рассаживаются по веткам ближайших деревьев, прячутся среди листвы и хвои, затаиваются.

Я успеваю в последний момент засечь одного из петушков, как он садится на ветку молодой березки, перепрыгивает на следующую ветку, перебегает поближе к стволу и замирает на какой-то миг, затем вытягивает шейку, насторожен-



но смотрит в мою сторону, переступает лапками. А я, чувствуя, как пересыхает во рту, трясущимися руками заряжаю ружье и начинаю целиться.

«Чак!» — осечка. У меня начинают потеть ладони и холодеет в животе.

«Чак!» — новая осечка. На глаза наворачиваются слезы, и я уже плохо вижу рябчика среди листвы.

И, кажется, на пятый раз вдруг оглушительно грохает выстрел. Обзор заволакивает синий пороховой дым. Когда он рассеивается, вижу: рябчик еще некоторое время топчет на ветке, а затем — «фыр-р-р!» — улетает.

Чуть ли ни бегом я возвращаюсь домой и принимаюсь за снаряжение патронов. Найдя в сених в столярном ящике топор и молоток, я из свинцовых пластинок вначале нарубил подобие проволочек, а из них — маленькие квадратики, которые затем обкатал между двух сковородок в грубое подобие дробинки, разных по размерам, но вполне пригодных для стрельбы. К вечеру зарядил около двух десятков патронов и все аккуратненько разложил по прежним местам. Решил деда в свои охотничьи дела пока не посвящать, еще не поймет моих добрых намерений. Вот настроляю рябчиков, тогда и похваюсь...

Утром меня разбудил необычный шум, грохот и крики деда в сених. Вскоре он ворвался в комнату, где я спал, и буквально сдернул меня с кровати. Я не на шутку перетрусил, увидев в его руках топор: «Не спятил ли дедуля?» — мелькнуло в голове.

Боже! Каких только эпитетов я не услышал в свой адрес в то злополучное солнечное утро! Он совал мне под нос свой топор, топал ногами и кричал:

— Ты посмотри, ты посмотри, что ты наделал! Это же столярный топор! Ты понимаешь, что такое столярный топор? — повторял он с расстановкой.

Я, вжав голову в плечи, тупо смотрел на зазубренное лез-

вие топора и не мог понять, чего хочет от меня дед. А он продолжал разоряться:

— Да где вам знать, вам, городским бездельникам, в нашем вонючем городе, что такое настоящий столярный или плотницкий инструмент для сельского труженика?! Вы, городские, никогда не ценили труд сельчан, поставляющих хлебушко и молочко к вашему столу! Да что я распинаясь: дубина — она и останется дубиной стоеросовой! А ну пошли.

Дед привел меня под навес, где выволоч из угла на середине точило — простейшее деревенское приспособление, состоящее из полой колоды на ножках, в которой помещался точильный круг, насаженный на автомобильную заводную рукоять. Процесс заточки всех инструментов осуществлялся путем вращения точильного круга вручную. Дед налил в колоду воды и приказал:

— Вращай и побыстрее.

И я вращал «заводную» ручку, вращал полчаса, час. Пот заливал глаза, капал с носа, отваливалась спина, горели ладони, натертые «заводной» ручкой, дрожали колени, а дед все точил и точил свой столярный топор. Сыпались искры из-под лезвия, и казалось, этому мучению не будет конца. Изредка дед поднимал топор к глазам, изучал, пробовал лезвие ногтем большого пальца и принимался точить снова.

И когда я был готов свалиться на землю от изнеможения, дед, наконец-то, буркнул:

— Хорош!

Я на ватных ногах, пошатываясь, с трудом доплелся до чурбака, на котором кололи дрова, стоявший от точила в пяти шагах, и плюхнулся на него. Дед внимательно посмотрел на меня, хмыкнул и, перехватив топором злополучного топора поближе к обуху, двинулся к дому.

С того дня кончилось мое бесконтрольное времяпрепровождение. Куда бы ни отправлялся дед: на сенокос ли, на заготовку метел, жердей или дров на зиму, за грибами или за

ягодой — он всегда брал меня с собой. Он учил меня косить траву, грести и метать сено, вязать веники и метлы, пилить двухручкой дрова, учил понимать и любить природу. Бывало, разрешал мне брать с собой одностволку, и почти всегда мы возвращались домой не пустыми, приносили рябчиков, а то и одного-двух косачей. Шел мне тогда пятнадцатый год...

Минуло несколько десятков лет. Давно нет в живых деда. Мир праху его. Многое уже забылось. А вот столярный дедов топор я помню до сих пор.



ПОДРАНОК

(Рассказ)

Витька копает огород. А копать здорово не хочется. 16 соток — это тебе не фунт изюма. И все шестнадцать — «врукопашную» — лопатой.

Еще с вечера Витька наметил сходить на озеро, но когда утром он полез в кладовку и достал седые от пыли болотные сапоги, мать сурово спросила:

- Куда? Опять на болото? — и отрубила. — Хватит! Огород просыхает. Люди уже за посадку взялись, а у нас еще ни грядки не вскопано.

Витька, огорченно вздохнув, бросает в угол сапоги и идет точить штыковку.

Пряно пахнет подсыхающей, но еще влажной землей. Голубоватый воздух чуть дрожит под теплыми лучами солнца. Дурманящий настой, замешанный на полусопревших про-

шлогодных листьях и клейкой весенней травке, пьяняще кружит голову.

Огород покато сползает в низину, которая сейчас чуть заполнена весенней талой водой. Густой тальник в этой низине, стоя по щиколотку в воде, задумался, засмотревшись на свое отражение в зеркальной голубизне между кочек. Полузатопленный кочкарник распустил свои космы из бурой прошлогодней осоки и полощет их в талой воде, и если наклониться, то между колеблющихся и извивающихся стеблей осоки в потоке можно увидеть на дне пробивающуюся зелень лягушачьей слепоты.

Витька копает с остервенением, со всего плеча блестящим лезвием штыковки разбивает влажные и маслянистые комья земли и старается не смотреть по сторонам. Но последнее ему не удастся. То и дело вздрагивая, он вскидывает голову и жадно, с охотничьим азартом провожает взглядом пикирующего к земле и блеющего барашком очередного бекаса. Чутким ухом ловит переливы скворцов, захлебывающихся в весеннем экстазе.

И вдруг его ухо улавливает в какофонии птичьего разноголосья знакомый посвист крыльев. Вскидывая голову, он замечает, как пара чирков, описывая широкую дугу, пронесется над тальником и начинает плавно опускаться напротив их огорода в залитый талой водой кочкарник. И в этот миг черной молнией из поднебесья на парочку чирков падает ястреб. Он бьет грудью уточку. Витька с ужасом видит, как уточка, перекувыркнувшись в воздухе и теряя перья, безжизненно падает в тальниковые заросли. Селезень-чирок шарахается в сторону и трусливо скрывается вдаль. А ястреб, не успевший подхватить безжизненное тельце своей жертвы при ее падении, сердито клекотнув и сделав пару виражей над тальником, улетает.

Витька, бросив лопату, мчится к дому, натягивает болотные сапоги и галопом — обратно к залитому водой таль-

нику. Мать, боронившая грядки, смотрит ему вслед и сокрушенно качает головой. Раскатав голенища болотников до предела, Витька долго бродит среди кочек, раздвигая кусты и заглядывая под космы прошлогодней осоки. Наконец, он находит ее, прижавшуюся к одной из кочек и живую. Уточка до того слаба и напугана, что совершенно не сопротивляется, когда Витька протягивает к ней руки. Ее горячее тельце мелко дрожит.

Витька отнес ее в дровяник, посадил в картонную коробку из-под телевизора и, налив в миску воды, вновь взялся за лопату.

Вечером Витька тщательно осмотрел очухавшуюся и отчаянно рвущуюся из рук уточку, которую мысленно уже называл Чирушкой, и убедился: травма у нее пустяковая - большая царапина и ушиб спинки - результат обычного метода охоты ястреба на жертву в воздухе, которую в момент падения на землю подхватывает когтями.

Мать беззлобно ворчит:

- Ну, чего ты с ней возишься? Сколько ты их пострелял за два года, как тебе разрешили охотиться? Небось, на охоте, когда стреляешь, не жалеешь, а тут возишься. Свари суп, все равно помрет. Не будет она в неволе жить, - и когда натолкнулась на укоризненный взгляд сына, махнула рукой. - А-а! Как знаешь...

Но все-таки помогла Витьке удержать бьющуюся Чирушку при смазывании йодом ушибленное место.

Принимать пищу Чирушка начала только на третий день. Робко вылезла из угла коробки, долго щелокчила клювом в миске с водой, а затем зашуршала в другой миске с зерном и хлебными крошками. «Молодец! - обрадовался Витька, наблюдая в этот момент в щелку за своей пленницей. - Теперь ты быстренько на поправку пойдешь».

И вправду, уже через неделю уточка, совсем оклемавшись, стала настырно рваться из коробки на волю: весенний ин-

стинкт брал свое, торопил со строительством гнезда. И Витька сжалился, посадил Чирушку в посылочный ящик и отправился на Малиновое озеро.

А весна буйствовала в полную силу. На черемошнике, тальнике и осиннике уже начали разворачиваться клейкие листочки, окрасив окружающий лес и кустарник в зеленоватую дымку. Из влажной земли сквозь прель прошлогодней листвы поперла зелень молодой травы. Сине-голубым и желтым ковром расцвелись полянки и низинки от обильно распустившихся первых весенних цветов: кандыков, медунок и мать-и-мачехи. За прошедшую неделю преобразился и кочкарник, на его макушках появилась вместо косм новая прическа - молодежный ежик из пробившейся темно-зеленой осоки. И здесь же между кочек уже обильно зацвела бледно-желтая лягушачья слепота.

Небо перекрасилось в нежно-голубой, какой-то бездонный цвет, отчего стало еще выше и объемнее. И солнце пригревает с каждым днем все сильнее и сильнее. Если зажмуриться и подставить лицо его лучам, почувствуешь их ласковое и теплое поглаживание по щекам.

Берега Малинового озера густо заросли черемошником вперемежку с тальником. Летом водная гладь его почти до середины зарастает лилиями. Их глянцевые разлапистые листья, напоминающие детские рисунки сердца, так густо затягивают водную поверхность, что любителям рыбалки на карасей приходится выкапывать специальные окна для прикормки и заброса своих удочек, но и после этого постоянные зацепы за стебли кувшинок - настоящая беда рыбаков. Малиновое - самое любимое озеро утиных выводков, которые в большом количестве выводятся в соседнем кочкарнике.

Сегодня водная гладь озера пока чиста. Витька ставит свою посылку у кромки воды и медленно развязывает бечевку, стягивающую тряпку, закрывающую ящик. Чирушка уже не так бьется в руках, как прежде, только испуганно дро-

жит. Витька опускает ее на воду. Уточка некоторое время ошарашенно крутит головкой, медленно отплывает от берега и вдруг с всплеском срывается и стремительно уносится в сторону кочкарника.

- Лети, лети, дурашка. Заводи семью и летом приплывай сюда со своими утятками. Смотри, как хорошо здесь и кормежки вдосталь, - Витька с легкой грустинкой в глазах провожает бывшую свою пленницу-подранка, пока она не исчезает за кустами.



БУРУНДУЧОК

(Рассказ)

Мне как-то посчастливилось побывать на знаменитых кедрачах в урочище Кичи не так далеко от поселка Усть-Кабырза, где кедры в два-три человеческих обхвата во множестве росли по крутым склонам сопок и ежегодно приносили богатый урожай очень вкусных и полезных для здоровья кедровых орешков. В урочище обитало большое число белок и бурундучков - страстных любителей этих орешков, которых всем хватало: и птицам, и зверушкам, и человеку, и в природный семенной фонд



оставалось для воспроизводства кедровой поросли, сменяющей поколение стареющих великанов.

В тот год я гостил у родственников в Кабырзе и частенько бегал в тайгу поохотиться на рябчиков. Было начало сентября - самый разгар бабьего лета: теплынь, только утрами на землю падали легкие заморозки. Они придавили меж деревьев высоченную траву и сделали тайгу более прозрачной и проходимой для пешего путника.

Сегодня мне не особенно везло - рябчики не шли на манок, всего-то и подлетел один-единственный петушок из тех задиристых и глупых, как и всякая молодежь. Возвращаясь домой из пихтача, где безуспешно пытался обмануть рябшечек на костяную свистульку, я решил посетить кедрач и пособирать созревших и напавших шишек в свой пустой рюкзачок.

Иду по склону под сенью стволов-исполинов и радуюсь: урожай орехов нынче отменный - раскидистые вершины кедров буквально усеяны шишками. Они уже в стадии спелости и со дня на день сюда нагрянут шишкойобой, в основном, - местные жители - шорцы с мешками, решетами, ведрами и «Машками». «Машка» - это громадная деревянная кувалда - чурбак, насаженный на длинную рукоять. Ею со всего маху бьют по стволу кедр, и спелые шишки градом сыплются на землю. Их собирают в мешки и затем на берегу речки или ручья вываривают в ведрах на жарких кострах. Вываренные в кипятке и лишённые смолы шишки легко шелушатся. Домой шишкойобой возвращаются с мешками чистого провеянного ореха. И только на первый взгляд кажется, что труд шишкойобоев - сплошное удовольствие с отдыхом на лоне природы. Зря завидуете - одна тяжеловесная «Машка», несмываемая смола, комарье и гнус чего стоят!..

Засмотревшись на усыпанную темно-коричневыми шишками вершину кряжистой кедрухи, вдруг чувствую весьма болочий удар по макушке. Испуганно оглядываюсь и вижу

отскочившую от моей головы и покотившуюся по земле довольно крупную кедровую шишку. «Интересно, кто это так прицельно швыряется шишками в мою «бестолковку»?» - изумляюсь я и начинаю обшаривать глазами окружающие кусты и деревья. И неожиданно замечаю мелькнувшую среди лапника высоко над головой тень какого-то зверька. Приглядываюсь: ба-а, да это бурундучок! Затаился и зыркает на меня своими черными бусинками глаз. Я отступаю и прячусь за ствол соседнего дерева.

Через некоторое время бурундучок успокаивается и начинает бегать по веткам. Вот он находит довольно крупную шишку, отгрызает ножку и наблюдает, куда она упадет, будто запоминает место приземления. Так он сбрасывает на землю не менее пяти шишек, затем, перескакивал с ветки на ветку, шустро спускается вниз и начинает собирать свой трофей, стаскивая их к большой полусгнившей валежине. Устроившись на ней и настороженно поозиравшись, бурундучок принимается шелушить одну из шишек, да так ловко и быстро, что я не успеваю глазом моргнуть, как пустая шишка отлетает в сторону, а щечки зверька раздуваются до невероятных размеров.

Вот разбойник! Шустро же он набил орешками свои защечные мешочки! А зверек, мелькнув полосатой спинкой, исчезает в полегшей траве. «В свои кладовые подался, пополнять запасы», - отмечаю я и выскакиваю из своего укрытия. У валежины нахожу с десятков крупных и увесистых шишек, быстренько сыпаю их в свой рюкзачок и возвращаюсь в убежище.

Можно было проследить за полосатеньким малышом, выяснить, где его норка, а в ней рядом со спальenkой - обширные кладовые и, несмотря на «протесты» хозяина, выгрести все запасы отборных орешков, которых у иных бурундучков набирается до двух-трех ведер. Но пожалел труд зверушки, так старательно заготавливающей съестное на долгую зиму. Да к тому же вспомнил одну байку о том, что бурундучок

якобы единственный из всех зверушек сводит счеты с жизнью, когда лишается зимних запасов и когда уже не остается времени на их восстановление. Бывает, глубокой осенью медведь - тоже страстный любитель кедровых орешков - или жадный человек разоряют его кладовую, и отчаявшийся зверек, предвидя голодную смерть в зимнюю стужу, находит в ветвях кустов узкую рогатулинку, которая и служит ему своеобразной виселицей (просунув в нее головку, бурундучок поджимает лапки и, задохнувшись, погибает). Вот эта-то притча, слышанная мной еще в детстве от деда, и останавливает меня от поисков закромов бурундучка. Хотя и не поздняя осень, но зачем подвергать зверушку лишнему стрессу.

А тем временем мой бурундучок, освободив защечные мешочки, возвращается к валежине и начинает метаться. Он сердито посвистывает и никак не поймет, куда делась его добыча. Но в конце концов смиряется с потерей, молнией взлетает на вершину кедра и вновь сбрасывает вниз самые спелые и крупные шишки. А когда он устраивается на валежине, я невольно люблюсь этим красивым и ловким зверьком, его изящными темными полосками на светло-серой спинке. Любуюсь и вспоминаю лесные сказки Софрона Тотыша - замечательного шорского писателя, тонкого знатока природы и беззаветно влюбленного в тайгу Горной Шории и ее обитателей, посвятившего им все свои произведения. Не гарантирую дословность, но вот что писал о бурундучке Софрон: «Когда-то давным-давно бурундучки были серенькими и не очень красивыми, но кедровые орешки любили так же, как и сегодня, и на зиму запасались ими в большом количестве. Однажды медведь, нагуливая жирок перед зимней спячкой, наткнулся случайно на норку бурундучка, разрыл ее и обнаружил много-много кедровых орешков, которые очень любил. Сидит мишка и с аппетитом уплетает вкусные орешки, и так ему захотелось отблагодарить хозяина кладовых, что чуть не прослезился. Смотрит, а рядом с кладовой в нор-

ке-спаленке на мягкой подстилке, съжившись в серый комочек, затаился бурундучок. Мишка обрадовался, наклонился и ласково заговорил:

- Спасибо тебе, маленький хозяин, за вкусные орешки. Угодил ты мне, и я хочу отблагодарить тебя. Дай я тебя поглажу.

А бурундучок дрожит от страха, зажмурился и почти не дышит. Погладил медведь бурундучка лапой по спине, да не рассчитал силу - все пять его когтей оставили глубокий след на шкурке зверька. Кровь выступила, запеклась, и с тех пор бурундучок носит на своей серенькой шелковистой спинке пять темных параллельных полос - отметин благодарного мишки за угощение»...

Такая вот история.

Тем временем мой бурундучок, набив щеки, отправляется к своей норке, а я вновь экспроприрую его шишки. Возмущению зверушки при возвращении нет предела.

И только на третий раз, лишившись десятка кровных шишек, обиженный бурундучок, проверещав в мой адрес что-то злое, исчезает из поля зрения, видимо, меняет дислокацию. А я, вскинув на плечи отяжелевший рюкзачок, направляюсь домой, мысленно благодаря и извиняясь перед таежной красивой зверушкой за воровство ее личной собственности.



ДВОРНЯГА

(Рассказ)

Деда Геню, вернее Геннадия Трофимовича, нашего заядлого абагурского охотника, я знал давно. Частенько встречался с ним на близлежащих от поселка озерах Малиновом и Тогуле во время охоты на уток. Пару раз слышал байки друзей о феноменальных способностях его собаки, но значения не придавал: мало ли чего напридумывают охотнички - любители приврать. Я и сам из той плеяды.

В последнюю субботу августа - обычная дата открытия осеннего сезона охоты - на берегах озер и стариц в окрестностях Абагура и особенно на труднопроходимых болотах в районе бывших совхозов Елань и Муратово от нашествия местных и новокузнецких охотников всегда было столпотворение. В конце пятидесятых и в шестидесятые годы на этих болотах и озерах утки водилось прорва - вот и съезжалась сюда масса поклонников охотничьих зорек и посвиста утиных крыльев на рассвете. На открытие съезжались и маститые охотники, и повички, готовые палить во все летающее, прыгающее, кричающее и даже каркающее. Доходило до того, что молодежь, приняв на грудь, забывала об охоте и дичи и расстреливала свои патронташи по банкам и пустым бутылкам.

Сегодня тех болот, поросших тальником, ольховником и камышом, озер и львин, где водилась тьма-тьмущая уток, вальдшнепов, бекасов, водяных курочек и прочей пернатой братии, уже нет в природе. Они засыпаны отходами агрофабрики, которую построили на левом берегу Кондомы у подошвы невысоких гор, кольцом опоясывающих Новокузнецк с его пригородными поселками.

В свое время тридцатикилометровое кольцо вокруг города, объявленное зеленой зоной, в которое входили и охотни-

чьи уголья в окрестностях Абагура, Елани и Муратово, в настоящее время «благодаря» деятельности аглофабрики превратилось в свалку ее отходов — «хвостов». О какой-то дичи в бывшем зеленом кольце и речи быть не может, осталось одно воронье и сороки, да и те, в большинстве своем, перебираются в город с дармовой и обильной жратвой на помойках, они гнездятся на чердаках и в парках, превращаясь в «городских обитателей».

А в шестидесятые годы еще начинающим охотником я очень любил побродить с ружьем на знаменитых еланских болотах, особенно по их кромке, где пролегало брошенное железнодорожное полотно с поржавевшими рельсами и пробивающейся травой между шпал. Когда-то по этим рельсам ходили поезда из Новокузнецка на Мыски, Междуреченск и далее на Абазу, но проложили новую ветку, спрямили кривун, а это полотно начало постепенно зарастать. Вдоль него среди зарослей ивняка было множество открытых «окон» чистой воды, куда, возвращаясь с совхозных полей после ночной кормежки, частенько «падали» отяжелевшие утки поплескаться и испить чистой водицы, чтобы затем уковылять в кочкарник и камыши подалее в болотные просторы до захода солнца, до очередной ночной кормежки. Да, уткам было раздолье, и плодились они на этих болотах в громадном количестве.

Жил я в те времена на самом краю поселка, на Рожковой, и добираться до болот напрямки было — раз плюнуть. Встану, бывало, до свету и ходу в быстром темпе мимо огородов, вдоль Черного озера, через осинник по тропочке, по которой мог ходить, не плутая, и в темноте, и даже с завязанными глазами, и уже через двадцать минут я шагал по заброшенному полотну. А пробежавшись по нему, я к восьми утра успевал, переодевшись, проскочить проходную мастерскую и, запыхавшись, влететь в механический цех, где работал фрезеровщиком.

Мои утренние вылазки на охоту не всегда были удачными: «мазал» я тогда безбожно, особенно по взлетающим и летящим уткам, никак не мог определиться с упреждением.

Помню, как-то так же спозаранку рванул я на любимое болото.

И вот шагаю на восходе солнца по подгнившим заросшим реденькой травой шпалам и с замирающим сердцем зорко поглядываю по сторонам: не захлопает ли крыльями, взлетая отдыхающая на лужицах утка, не закрякает ли где поблизости ее подружка. Ружье — на сгибе левой руки, и я готов стрелять навскидку в любой момент.

Тишина. Природа дремлет, нежится перед окончательным пробуждением. Солнце еще не взошло, но его краешек вот-вот выглянет из-за горизонта, а пока его лучи окрашивают легкие перистые облачка на небосклоне в бледно-розовый цвет. Слегка тронутые осенней позолотой продолговатые листочки тальниковых кустов не трепещут, замерли в прохладном воздухе. Не шелхнутся и паутинки, повисшие, будто серебряные нити, меж тоненьких веточек.

Начало сентября, и уже нет того радостного птичьего гомона, которым совсем недавно встречала восход солнца местная пернатая капелла: не до трелей лесным певуньям; кончилось время залихватских песенных рулад — пора собираться на юг. Грустная пора.

Я досконально изучил все лужицы-окна вдоль полотна и замедляю шаги, подкрадываясь к очередной из них. И все равно вздрагиваю от неожиданности, когда, взрывая тишину треском крыльев, над низкорослым кустарником свечой к небу на-



чинает подниматься крякаш. Автоматически вскидываю двустволку, судорожно ловлю на мушку селезня и, толком не прицелившись и не взяв упреждение, палю из обоих стволов. И с изумленным восторгом замечаю, как крякаш, осев и перекувыркнувшись, тяжело шлепается в кусты.

Раскатав голенища болотных сапог до предела, торопливо спускаюсь с полотна и, ухнув в болотную ряску выше колен, начинаю, раздвигая кусты и высокую осоку, искать среди кочкарника упавшего селезня. Но увы... Проходит пятьдесят минут поисков, а добыча как в воду канула, вернее в болотную жижу, которую я размесил вокруг открытой лужи в радиусе не менее 20 метров. И уже отчаявшись, начинаю тихо материться: и на себя — стрелка долбаного, и на удравшего крякаша-подранка, и на невезуху сегодняшнего дня, как слышу хруст щебня на полотне от приближающихся шагов. Выбираюсь из кустов грязный, потный и злой, как черт, и нос к носу сталкиваюсь с дедом Геней.

- О-о! Мой юный друг! Давненько, давненько мы с тобой не встречались. По-моему, последний раз вместе охотились на Малиновом озере в прошлом году?

- Да, действительно. На пролете северной утки. Вы тогда аж шесть штук добыли, хотя табунки и высоко шли, - неохотно поддерживаю я предложенный разговор.

- Во-во. А ты чего такой кислый и мокрый? — резко меняет тему Трофимыч.

- А-а-а, - вяло отмахиваюсь я, - крякаша сбил, а найти не могу. Вот в эти кусты упал, - и только тут замечаю у ног деда Гени неказистую собачонку, кривоногую, с полуобвисшими ушами, трехшерстную, грязно-белую с крупными черно-коричневыми пятнами по спине и бокам. Одно из таких пятен расплзлось по левой стороне острой собачьей мордочки, охватив глаз и обвислое ухо, и создавалось впечатление — собачонка, прищурившись, хитро подмигивает всем, к кому поворачивает голову. Собачонка нельзя сказать, чтобы была

махонькая, но и не волкодав, так себе — обыкновенная дворняга, каких полно бегают по улицам нашего поселка и сидят на цепях почти в каждом дворе.

- Она что — и по дичи ходит? — с некоторым сарказмом киваю я на собаку, с безучастным видом сидящую у ног Трофимыча.

Мой сарказм, видимо, задевает старика.

- Это Филимон, а попросту Филька. Постарел малость, как и я, но еще ничего, дай бог каждому, - дед Геня с ехидцей улыбается, от уголков его поблекших светло-серых глаз к седым вискам разбегаются лучики морщинок, а тонкие дряблые с синим оттенком губы под прокуренными желтыми усами растягиваются в торжествующей усмешке.

Я конфузливо крякаю:

- Черт! Не обратил внимания на живот вашей собаки... - и уже удивленно. — Неужели эта дворняга способна, как сеттер или спаниель, искать и находить дичь?

- Да, работает не хуже твоего сеттера. А что болтают, будто дворняги нюха охотничьего не имеют — так ерунда все это. Есть. Только развивать надо. Не веришь? — у Трофимыча от возбуждения расширяются ноздри и начинают трепетать открылки мясистого носа, немного великоватого для его скуластого лица.

- А моего подранка найдет? — перебиваю я начинающего распаляться Трофимыча.

- Запросто. Только выстрелить надо в направлении, где Фильке искать — приучил я его так. Иначе ни в какое болото не ползет.

Я поднимаю ружье и зову:

- Филя! Филя! Смотри сюда!



Дворняга лениво поворачивает ко мне голову и оживает, увидев поднятое ружье, переводит глаза по направлению стволов. Стреляю и... никакой реакции со стороны Филимона. Он смотрит то на меня, то на хозяина. Я надрываюсь:

- Пошел! Ищи, Филя, ищи!

Бесполезно. Дед Геня начинает хихикать.

- Забыл я. Не пойдет он. Пойдет только после моего выстрела. У тебя 16-й калибр? Давай патрон.

Трофимыч, потрепав кобеля по загривку, стреляет поверх кустов из своей старенькой, но еще вполне приличной «тулки» и командует:

- Филя, марш! Ищи, старик, ищи, дорогой!

Дворняга, будто вразвалку, спускается с полотна и исчезает в кочкарнике, некоторое время слышится легкое чавканье болотной жижи и шелест осоки, но вскоре все затихает. Я достаю пачку и угощаю деда Геню сигареткой.

- Не-е-е. Я предпочитаю махорочку «Моршанскую», она покрепче.

Мы садимся на рельс. Дед Геня крутит из махры сигарку в палец толщиной и смолит. Плотный сизый дым клубами долго висит перед его лицом, пока он ладонью не разгоняет едкую завесу. И, как бы продолжая прерванный разговор, поворачивается ко мне:

- Я никогда не хожу на охоту в выходные дни и особенно в день открытия сезона, когда наезжает прорва городских охотников и начинается сплошная пальба. Эти горе-охотнички палят по уткам на любом расстоянии, даже по летящим от них за сотню метров. Ну и толку... В лучшем случае – промах, в худшем – одни подранки, которые охотнику не достаются. Я отправляюсь на озера и сюда, на болото, в рабочие дни, когда здесь тишина. Стреляю поверх кустов, и мой Филька отправляется собирать всех подранков. Домой приношу от 10 до 15 уток, сделав всего один-два выстрела...

И тут в подтверждение рассказа хозяина из осоки появля-

ется взлохмаченная и мокрая дворняга. В зубах – утка. Положив ее у ног Трофимыча, Филька вновь скрывается в кочкарнике. Я обалдело смотрю на утку – это явно не крикани, это всего-навсего чирок.

- Что, не твой? – лыбится дед Геня.

Я отрицательно мотаю головой.

- Значит, мой, - и Трофимыч, шумно нюхнув тушку чирка, деловито запикивает его в потрепанный рюкзак.

Через несколько минут Филька появляется снова, на этот раз с шилохвостью в зубах. И только на четвертый или пятый раз он приволакивает моего селезня, слегка придушенного, но еще тепленького.

Поблагодарив Трофимыча за помощь и отдав Фильке свой бутерброд с котлетой, я спешу домой, придумывая на ходу отговорку перед начальством по поводу сегодняшнего опоздания на работу. Шагаю и поражаюсь:

- Ну и Филька! Вот тебе и дворняга!



СОНЬКА

(Рассказ)

Какие-то дела задержали меня в поселке, и на своей «фазице» я появился только утром. Открываю калитку, а на крыльчике садового домика – гостя: молоденькая и очень симпатичная кошечка двух цветов, в основном, черненькая

в красивых белых носочках, с такой же белоснежной манишкой и щечками, которые придавали кокетливой мордочке с черным носиком какое-то едва уловимое плутоватое выражение. Белое брюшко с подобными нежными пятнами по бокам... В общем, не киска, а симпатяшка: таких красавиц, т. е. подобных им, продают на рынках умельцы-гончары в виде копилочек.

Увидев меня, кошечка грациозно привстала и, выгнув спину, тихо мяукнула, прошлась по крылечку. А мне послышался ее шутливый упрек:

- Где это вы так подзагуляли, молодой человек? Я жду, жду, уже совсем заждалась. Отпирайте скорее дверь и давайте войдем. Не стойте таким растерянным...

- Ну, здравствуй, милая гостья. Откуда ты, прелестное создание? — почему-то обрадовавшись, поприветствовал я кошечку, поднимаясь по ступеням крылечка и доставая ключи. — Ты послание свыше или чья-то потеря?

А киска терлась о мою штанину, что-то ласково мурлыкала и нежно-заискивающе поглядывала снизу вверх мне в глаза.

- Ну входи. Только вот беда: не ждал я гостей и не припас угощения, но что-нибудь придумаем. Тебя как зовут-то? — и мне вдруг пришло на ум давно нравящееся имя. — Случайно не Соня?

Услышав произнесенное мной имя, гостья повернула голову и внимательно посмотрела на меня, и показалось — улыбнулась.

- Значит, угадал, - вновь обрадовался я, - и это здорово, что тебя так зовут.

Тем временем кошечка деловито обошла все помеще-



ния домика, обнюхала углы, убедилась, что здесь никогда не было кошачьего рода, и вспрыгнула на диван, свернулась рядом с «думочкой» клубочком и прижмурила свои зеленоватые глазки.

Так у нас с Петровной появился на «фазенде» третий член семьи — Сонька, ставшая впоследствии не только нашей любимицей, но и всех друзей и соседей. И вообще Сонька постоянно поражала нас своим умом и непредсказуемым поведением.

Во-первых, по только ей известным прихотям она уделяла особые знаки внимания мне, видимо, как главе семейства и сильной половине человеческого рода, хотя от жены ей перепало вкусенького куда больше, чем от хозяина дома.

Стоило мне присесть на диван и позвать: «Соня, ты где? Иди отдохнем», - как она тут же появлялась, вспрыгивала на колени и обязательно клала свою красивую головку на ступь левой руки, где пульсировал в напряженных венах сердечный кровоток, внимательно, с какой-то нежностью смотрела мне в глаза и начинала ласково мурлыкать. А когда я ложился, Сонька, устроившись на левом предплечье, начинала нежно тереться ушами мордочкой о мою грудь в области сердца и принималась завораживающе рассказывать какие-то свои мурлыкины сказки. И я под эти сказки засыпал, они меня убавляли, снимали накопившееся напряжение.

Говорят, кошка чувствует, что и где болит у хозяина, и обязательно приляжет на больное место или начнет лизать его своим шершавым язычком, снимая тем самым возникшую боль, и будто вылечивает недуг своими биотоками. Не знаю, насколько это верно, но после Сонькиной терапии облегчение я действительно чувствовал. Ноющая боль в сердце постепенно утихала, слабел звон колокольчиков в ушах, и с дивана я зачастую поднимался вполне отдохнувшим, без каких-либо болевых ощущений. Одного я не мог понять, каким образом Сонька определила, что у меня больное сердце, и

каким образом она узнавала о нарушениях его ритма, особенно в моменты, когда мне было плохо.

Но зачастую Сонькина любовь ко мне доходила до абсурда. Сколько помню, она всегда пыталась угостить меня всем, что добывала на своей охоте. Переловив на родном участке и в ближайшей округе всех мышей, Сонька, как правило, спешила с добычей ко мне.

Столярничаю, бывало, за верстаком или грядки привожу в порядок и уже издали слышу: «Мяу! Мяу! Мур-р-р». Все ясно – добытчица ищет меня и сейчас чем-то угощать будет. И точно, через минуту появляется Сонька, в зубах – очередная мышка. Она грациозно подходит, кладет добычу у моих ног и начинает тереться мордочкой о штанины, мурлыкает, будто уговаривает:

- Смотри, хозяин, какую я тебе мышку принесла. Попробуй – это деликатес.

- Сонюшка, милая, - наклоняюсь над своей любимицей и начинаю гладить ее по выгибающейся спинке, - пойми: не ем я мышек. Это для тебя они деликатес, а для меня – тьфу! – гадость несусветная. Так что, извини, забирай свою бяку и не уговаривай, все равно не буду... А хотя я догадываюсь, почему ты задабриваешь меня, подлизываешься – свежей рыбки хочешь, карасиков, да? Тебе надоело мясное? Ну, тогда подожди немножко. Вот закончу строгать и схожу на карьер, проверю корчажку и принесу тебе карасишек. А пока не мешай, забирай свою добычу и займись своими делами.

Кстати, о карьерах. Были такие заброшенные недалеко от нашей дачи за железнодорожным тупиком заросшие камышом и ольховником, в которых благодаря утиным выводкам расплодился прорва карасишек. Мелкота, конечно, чуть больше пятаков, но в корчажку, сплетенную из медной проволоки, всегда набивалось их изрядно: и любимой Соньке хватало, и на расплод в нашем искусственном водоеме оста-

валось, который я, наняв экскаватор и бульдозер, два года назад выкопал в конце участка по настоянию жены.

Тогда случилось жаркое лето, и с поливкой грядок была жуткая проблема, даже в колодцах полное ведро воды не зачерпнуть. Пришлось искать выход. Как раз был период, «разгула» талонной системы на все и вся. Спиртное тогда пользовалось особым спросом и являлось «твердой валютой» при расчете за любые услуги. Этим я и воспользовался.

Именно за «твердую валюту» механизаторы из дорожно-строительной бригады и вырыли в нерабочее время весьма обширный водоем. В нем мы с друзьями и когда приезжали гости, нанарившись в бане, купались и ныряли с подмостков, едва доставая дно на трехметровой глубине.

Пользуясь тем, что наша дача находилась на окраине садово-огородного поселка и участок не ограничивался заборами соседей, я и позволил себе такую роскошь, как собственный пруд, который в засушливое время здорово выручал всех дачников в округе при поливе огородов. Но особенно радовал он поселковую ребятню. Едва начиналось лето и чуть согревалась на солнце вода, на противоположном берегу нашего пруда начиналось столпотворение – сюда стекалась вся ребятня. Визг, хохот, плеск воды, костер для сугрева, вокруг него приплясывают посиневшие любители водных процедур. А у нас с Петровной – новая головная боль: как бы эти малолетние голопупые «головорезы» чего не сожгли? Да разве уследишь. Отлучился куда – недосчитаешься каких-то строительных материалов или заметно поубавится у бани поленица дров, которые, глядь, уже весело потрескивают в жарком пламени их костра.

А после того, как пацанва в наше отсутствие ополовинила грядку с редиской и хорошо пошуровала в огуречной теплице, Петровна – в истерику:

- Засыпай пруд! Будь он трижды неладен! Задолбает шпанна, все с огорода вынесет...

- Тебя не поймешь: то давай водоем, то засыпай...

- Лучше хороший колодец и насос...

- Нет уж. Я в наш пруд более 300 карасиков запустил. Они скоро как лапти будут, а я их — засыпать? Нет уж... - отрубил я.

... Я любил белыми ночами посидеть на скамеечке у пруда и послушать соловьев. К счастью, одна влюбленная парочка гнездилась почти рядом с дачей в ближайшем березнячке. Полуприкрыв повлажневшие глаза и расслабленно откинувшись к спинке скамеечки, я млею от наслаждения и, опьяненный завораживающими трелями милых пернатых соседей, уносился мысленно в какую-то безбрежную даль, в мечтательные грезы и так мог сидеть часами. Удивительно, но такие соловьиные ночи любила и Сонька. Уютно устроившись на коленях, она, как и я, чутко прислушивалась к соловьиным руладам и другим звукам дремлющей природы, о чем свидетельствовали ее вздрагивающие ушки, и изредка заглядывала мне в глаза: не сплю ли? Я подмигивал и, приложив палец к губам, чуть заметно кивал на березнячок, где заливался в экстазе соловушка, восхищенно шептал: «Ах шельмец! Ты послушай, как он изощряется... Какой фантазер, а! Это же надо, какое коленце изобразил... Ну и талантище!» И Сонька понимающе прижмуривала свои зеленоватые глазки, выпускала коготки и нежно впивала их в мои коленки, отчего я, вздрагивая, напрягался и клал ладонь на ее лапки в носочках, успокаивал:

- Ну, ну... не выражай так агрессивно свои эмоции. А если я начну так же выражать свой восторг? Учти, у меня коготков нет, я подзатыльника дам.

Так мы и жили: с ранней весны, едва закапает с крыш звонкая мартовская капель и появятся первые проталинки — переезжали из поселка (он у нас городского типа, с асфальтом и пятиэтажными домами) на любимую дачу и жили там, наслаждаясь деревенским укладом жизни до глубоких сне-

гов, пока на садово-огородных участках не вырубили электричество. В зимнее время мы с Петровной изнывали от безделья, смотрели теляцки и тосковали по даче, по грядкам, бане. Я с головой уходил в писанину, возобновлял переписку с друзьями и близкими, прерывающуюся на летний период, и перечитывал все накопившиеся газеты.

Сонька не любила поселок, никогда не выходила во двор погулять: посидит на перилах балкона, подышит свежим воздухом, полюбуется облачками на небе — и в комнату. Чувствовалось, и она тосковала по даче, по шелковистой траве, по росе и песочку на берегу пруда.

Стоило мне зашуршать газетными полосами, разворачивая их, как Сонька спешила к моему письменному столу, вспрыгивала на колени и начинала настойчиво тереться усатой мордочкой о мои руки, как бы выпрашивая: «Дай и мне что-нибудь почитать. Мне тоже интересно знать, что творится на белом свете».

Я ронял газету на пол, и начиналась кошачья забава. Сонька каталась по газетным страницам, но не рвала их, не царапала, она самозабвенно шуршала ими и, видимо, этот звук доставлял ей какое-то внутреннее наслаждение. Она то клубком сворачивалась между полосами, замирала, то вдруг выпрыгивала и принималась быстро-быстро ощупывать лапками страницы, будто читала текст на ощупь. И Петровна, всякий раз смеясь, начинала с некоторым сарказмом комментировать странное поведение нашей Соньки:

- Если верить в переселение душ, вы с Сонькой — два сапога — пара. Ты газетчиком работал, и смотри, как она любит газеты, другая бумага ее не интересует. Аж трясется вся. Наверное, в прошлой жизни тоже газетчиком была...

- Сколько можно говорить: не газетчиком, а журналистом! — начинаю я заводиться.

- Да ладно, не обижайся, я ведь шутя.

А на следующее лето Сонька практически спасла меня.

Была суббота. В этот день уже с утра я принимался готовить баню: таскал воду, колол дрова, щепал лучину и растапливал банную печь, в которую были вмурованы бак с водой и каменка. К вечеру в каменке, раскалившись добела, дышали нестерпимым жаром окатыши, а в баке бурлил кипяток. На полке в тазике цекотал ноздри ароматом свежезапаренный березовый веник. Пора собирать белье и идти париться. Петровна же, как всегда, связалась с поливкой капусты.

- Иди мойся, я позже попарюсь. Знаю, как ты кочегаришь – на полке не усидишь, уши в трубочку сворачиваются.

Через час, распаренный и обессиленный, с полотенцем на шее, я, отдуваясь, поднялся на крылечко нашего домика, помахал Петровне:

- Заканчивай. Ты что, ночью париться собираешься? Я пойду отдохну на диване, что-то голова кружится. Наверное, лишка на каменку плеснул и перегрелся.

- С легким паром! Иди, иди отдыхай. Я скоро закончу.

Сонька встретила меня на веранде, потерлась о штанину трико и направилась со мной в дом.

- Ты что, голодна? – но Сонька вспрыгнула и устроилась рядом со мной на диване.

И все. Дальнейшее я не помню, провалился в какую-то черноту.

Пришел в себя от резкого удара напатыря в нос. Петровна, распахнув халат, растирала мне грудь. В глазах постепенно рассветлело, но ноющая боль в груди не утихала.

- Ты чего? – попытался я отстраниться от жены.

- Ну, наконец-то очухался. Сколько говорила – не парься так!.. С твоим ли сердцем на полку лезть?! На, выпей капли валокордина, - и когда я, сморщившись, одним махом опрокинул в рот содержимое стопки, продолжила нотацию: – Спасибо Соньке. Я уже закончила поливать, мыла руки, слышу – на веранде Сонька как-то странно мяукает. У меня сразу сердце екнуло. Кинулась в дом, а ты без сознания на диване.

И Сонька мечется от тебя ко мне. Я чуть сама на пол не грохнулась в обморок – так перепугалась. Диву даюсь, как Сонька почувствовала, что тебе плохо, и давай меня звать...

И вот так сложилось, что нам с женой пришлось покинуть северный край и вернуться на малую родину, в Кузбасс. В последние дни перед отъездом, упаковывая багаж, я не находил себе места: как быть с Сонькой? Взять с собой? Но четверо суток в поезде с пересадками она просто не выдержит. Да и нет у нас в Сибири дачи, а в шумном и душном городе в квартире на третьем этаже без элементарного балкона она не приживется.

Новый хозяин нашей дачи Роман успокаивал:

- Не переживайте. Соньку не обижку. Она будет жить со мной и несколько не хуже, чем с вами.

И, несколько умиротворенные, мы уехали. А через месяц от Романа пришло письмо.

«...Сонька ушла. Без всякой причины, никто ее не обижал. Ушла вскоре после нашего отъезда и вот уже почти месяц не появляется. У всех соседей спрашивал – никто ее больше не видел...»

Соня... милая Соня, прости нас. Особенно прости меня за предательство...



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|-------------------------------|----|
| Брат | 3 |
| «За что?!» | 7 |
| Голубь | 10 |
| Две пули | 18 |
| Подарок | 26 |
| Гость | 29 |
| Подснежники | 33 |
| Ромашка | 37 |
| Автобусная остановка | 41 |
| Несостоявшееся свидание | 47 |
| Конононы | 52 |
| «Береста» | 57 |

ОКНО В ПРИРОДУ

| | |
|--------------------------------|-----|
| Косогор в огне | 67 |
| Березка | 68 |
| Дедуля | 73 |
| Караси в сметане | 78 |
| Хариусы | 85 |
| Черное озеро | 90 |
| Гроза | 97 |
| Цыплята | 110 |
| Ласточки | 113 |
| Рябчики и ...дедов топор | 119 |
| Подранок | 124 |
| Бурундучок | 128 |
| Дворняга | 133 |
| Сонька | 139 |

НЕУНЫВАХИН Владимир Максимович

ПОДСНЕЖНИКИ

*Сборник. Рассказы и зарисовки
для детей старших классов*

Технический редактор **Н. Д. Зеленова**
Компьютерная верстка **Т. Г. Кушнир**
Корректор **Н. Д. Зеленова**

Обложка и иллюстрации художника **С. В. Стригина**

ISBN 5-8441-0129-9

Издано по лицензии Союза писателей Кузбасса.

Серия ЛР 030775

г. Кемерово, просп. Советский, 40

Отпечатано в ООО «Полиграфист»,
654005, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 11

Подписано в печать 19.05.08.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл. п. л. 9,37.
Заказ 2017. Тираж 200